



Тамара Кириллова

*Однова
у свѣтѣм...*

Конспект
романа

Тамара Кириллова

Однава живем...

«Алетейя»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кириллова Т. В.

Одна живем... / Т. В. Кириллова — «Алетейя», 2015

Читателю предстоит познакомиться с не совсем обычной книгой, состоящей из двух частей, нечто вроде книги с половиной... Первая часть – написанный в ящик стола сорок лет тому назад роман «Одна живем» о глубоко самобытной судьбе русской женщины, в котором отразились, как в «капле воды», многие реалии нашей жизни, страны, со всем хорошим и плохим, всем тем, что в последние годы во всех ток-шоу выворачивают наизнанку. Вторая часть – продолжение, созданное как объяснение в любви к нашей Родине, к русской и мировой культуре.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Кириллова Т. В., 2015
© Алетейя, 2015

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Тамара Кириллова

Одна живем

*Молясь твоей
многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
позволь смиренно преклонить
колени!*

Н. А. Некрасов

Часть первая

Детство

*...БОГ ПРОГРАММИРОВАЛ СОВЕРШЕНСТВО... НО ДЬЯВОЛ
ПОДПУСТИЛ В БОЖЕСТВЕННО-СТРОЙНУЮ ПРОГРАММУ
НЕКОТОРУЮ ПОРЧУ. СОВЕРШЕНСТВО ДОЛЖНО БЫЛО РОДИТЬСЯ
МАЛЬЧИКОМ, А РОДИЛОСЬ ДЕВОЧКОЙ И НЕ СОВСЕМ ТАМ, ГДЕ ЭТО
БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ГАРМОНИЧНОЙ ЖИЗНИ...*

* * *

Дневник, 7 июля 1977 года

Итак, на днях, 4 июля, произошел на сорок четвертом году жизни знаменитый переход количества в качество: я ощутила в себе БОГА. Случилось это в двенадцатом часу дня, у главных ворот порта. Я сидела на какой-то железке, ожидая Люцию с автобусом. Люция – это Люда Анохина, наша переводчица с итальянским языком. Мы в предыдущий рейс «Федерико Чи» были приглашены падре на ланч. Падре уже несколько лет помогает нам в нашей работе. Сажу я на этой железке, около меня огромная лужа – в последние дни все дожди и дожди, ночью был сильный, – в луже отражаются вековые тополя, она чуточку рябит, ЖИВЕТ, и вдруг – безо всякой думы – ОНО и снизошло: БОГ... Во мне самой, во Вселенной... Я даже засмеялась. Действительно – лужа, тополя, грохот машин – и БОГ. Пару раз я пыталась добиться у верующих, в какой форме они ощущают БОГА, как они себе его представляют, но ничего вразумительного не добились. И сама теперь ничего вразумительного другому кому-нибудь сказать, объяснить не смогла бы. Какой-то вдруг подъем, вздох и – ОЗАРЕНИЕ – БОГ во мне...

Толчок, конечно, был, есть... Потому что уже несколько ночей я читаю КНИГУ. И толчок – это не Ваши слова о Боге, их немного, и, в общем-то, в другое время они бы вызвали у меня, в лучшем случае, какую-то форму недоумения. Я уже знала, что Вы верите в Бога, и в позапрошлом году, разговаривая с Александром Володиным в Комарове, сказала ему – мы говорили о ВАС, Александр Исаевич, – что меня очень интересует, в КАКОГО Бога Вы верите. Он ничего не сказал, не упомянул и о том, что его сын верующий, я об этом позже узнала. Видать, он, зная, где я работаю, опасался меня, может быть, вообще подумал, что провоцирую его.

Нет, толчком послужило физическое ощущение Вашего подвига, подвига нравственности, подвига противостояния гигантской системе подавления, ПОДВИГА ПРАВДЫ, равного которому нет во всей мировой реальной истории. Не слушая западное радио – у меня никогда не было денег на приёмник, – практически не получая никаких сведений о Вас последние годы, от случая к случаю читая о Вас в западной прессе, ничего из Ваших последних книг не читая, я, тем не менее, прекрасно представляла Вашу жизнь, Вашу сущность и теперь, читая Вас, только убеждаюсь в этом. Уже более десяти лет Вы для меня – мерило совести, мерило нравственности, мерило того, что зовётся русским, мерило Родины... И если это ощущалось мною иногда безболезненно, спокойным чутьём и разумом, иногда – мучительно болезненно, бессонными ночами, после поношений Вас, а это было не только тогда, когда Вас массированно травили, но и теперь на так называемых «лекциях» и «семинарах», на которых мне, в силу моей работы, часто приходится бывать, то сейчас, при чтении, всё это, собравшись в немислимо концентрированном сгустке, взрывает мою голову. Я или совсем, или почти не сплю, и вчера БОЛЕЗНЬ снова постучалась ко мне, но какие-то высшие силы дают мне возможность собрать себя и как никогда органично играть в моем вечном театре...

* * *

Мама поехала рожать меня в родное село. В Москве, на Казанском вокзале, творилось страшное, негде было повернуться. Мама была недалеко от дверей, когда вдруг раздались крики: «Сталин идет! Сталин идет!» Все бросились куда-то, поток направился к дверям, маму подхватило, понесло, в дверях её так стиснули, что она от дикой боли едва не потеряла сознание. Так, в полубессознательном состоянии, её вынесло на улицу. Началось что-то вроде схваток, она думала, что сейчас, на улице, и родит, присела к стенке вокзала, отдышалась, боли схватки прошли. От этого, нет ли, но нижняя челюсть у меня получилась покривленной, выдвинутой вперед, два верхних зуба напозли один на другой, перехлестнувшись упрямо, и губы тоже получились асимметричными. До поры, до времени это было незаметно, но потом Стасику, брату, купили фотоаппарат, и на фотографиях всё четко обозначилось. Тогда мне мама полушутя-полусерьёзно сказала: «Это Сталин виноват».

Мама ехала в деревню с земляками. Они не достали билетов на камышинский поезд, который шел прямо до станции Ржакса, а сели на саратовский поезд. Он довёз их только до Тамбова, там надо было пересаживаться. В Тамбове на вокзале и на улице ходили, сидели и лежали страшные, изможденные люди. Как выяснилось, это были, в основном, немцы с Поволжья, которые бежали от голода, сами не зная толком, куда. Мама и те, кто ехал с нею, стали есть, стараясь не встречаться с голодными взглядами. Выбросили в бумаге селёдочные головы, за ними кинулись дети. Мать не смогла есть и пошла в скверик перед вокзалом. Скверик тоже был набит людьми. Большинство лежало прямо на земле. И вдруг мать как будто что-то ударило. В траве лежала, лицом кверху, женщина, мухи роились в глазах и во рту. И около неё копошился ребёнок и всё пытался достать иссохшую, мёртвую грудь. Мама схватилась за живот: «Господи, да что же это такое!» Кинулась к дежурному по станции:

– Там женщина мёртвая, и около неё – ребёнок!

Дежурный посмотрел на неё:

– Эх ты, молодка! Ты о своём ребёнке думай. Их тут каждый день вон сколько помирает.

Приедут, увезут. И ребёнка куда-нибудь пристроят, если не помрёт до этого.

Это было в мае. А родилась я в четыре часа дня, в воскресенье, 16 июля 1933 года, в доме плотника Ивана и его жены Натальи, у моих будущих папы Вани и мамы Натани. Мать, как всегда, всего стеснялась; схватки начались с утра, она тужится, но молчит. Заметили домашние, кинулись за акушеркой; та прибежала, разрешила пузырь, сделала боковые разрезы, выда-

вила меня, у меня уже была увеличенная голова, застоялась в проходе. Акушерка потом сказала маме Натане:

– Либо совсем дурочка будет, либо даже умная.

Папе Ване было уже больше сорока лет, маме Натане – тридцать три года, они были бездетные, и всю свою нерастратченную любовь к детям выплеснули на меня. Купали меня аж по два раза в день. Ночью ко мне вставал папа Ваня – матери был двадцать один год, и она спала сном молодости – и пускал матерные рулады. Мама Натаня стыдила его:

– Да что ж ты, чёрт страшный, матом-то ругаешься!

– Да уж больно она хороша! Ты погляди, как она ножками-то сучит.

...Должно быть, моими первыми ощущениями были тишина, жужжанье муж и пчел, запахи яблок, июльское и августовское тепло...

Когда мне исполнилось месяца полтора, отец прислал с земляками конфеты из Мурманска, мать ходила за ними, ей там кое-что про отца рассказали. У нее перегорело молоко от расстройства, и её три зари заговаривала одна бабка. От этого, нет ли, но молоко вернулось.

Конфеты – это была первая весть от отца. До этого он ни поздравления, ни писем, ни денег не присылал. А тут запросил фотографию. Мать ездила со мной на Ржаксу фотографироваться. Отец начал слать уговорные письма. А мать ведь не просто уехала в декретный отпуск, она к нему возвращаться не хотела. Когда она забеременела, отец завербовался на Шпицберген, проработал там три месяца, хорошо заработал, привёз кое-какие вещи. Вначале всё было хорошо, отец даже готовил обеды и встречал маму с работы. Мама тогда телефонисткой работала, ходить было далеко, деревянные непрочные мостики, керосиновое освещение. Два года тому назад, когда она вот так же возвращалась с работы, её встретили бичи, начали приставать, она что-то сказала, что им не понравилось, они ударили её в живот, и у неё был выкидыш. Сын...

А теперь вот всё наладилось, но ненадолго. Кто-то оговорил маму, сказал отцу: мол, не от тебя ребенок. За время отсутствия отца к ней многие со всякими предложениями подъезжали, ну, и нашелся обиженный. Отец стал пить, всё пропил, что заработал на Шпицбергене. Начал погуливать, до матери слухи доходили, да и по поведению его было заметно.

Что он там разглядел на фотографии, какие отцовские чувства в нём проснулись, но только стал слать письма и пару раз денег прислал. Уговорил. Мама приехала в Мурманск и – ахнула. При бараке сарая нет, дров в комнате – ни полена. Ходила по соседним стройкам, собирала по щепочке, разжигала с трудом, руки были вечно обожжены по локоть. Знать, судьба ей вышла такая – всю жизнь с дровами возиться, они и сейчас дровами отапливаются. Колонка была далеко от барака. Где уж тут было меня по два раза купать, и по одному-то не всегда выходило. Продовольственную карточку ей дали не сразу. Отец опять гулял по бабам, денег не давал. Мать иногда голодала, боялась, что потеряет молоко. Хотела снова уехать к тете Натане и дяде Ване, но отец пригрозил:

– Уедешь, догоню и убью обеих.

Потом приехала моя крёстная, жила у нас. Мама пошла работать, крёстная нянчила меня, стало полегче. А когда мне было немногим больше года, крёстный увез меня к маме Натане, и я прожила у них до трёх лет. Когда мама рассказывала мне об этом времени, у неё дрожали руки, она плакала и курила одну папиросу за другой:

– Так и не довелось мне услышать твои первые слова, не пришлось отвечать на твои вопросы, не пришлось поводить тебя за

ручку.

Должно быть, с того холодного, неуютного времени я не люблю зиму. Да и потом – идо войны, и после войны – у нас никогда не было достаточно тёплой одежды, зимой мы мало гуляли, всё больше сидели по домам, и у меня почти нет никаких воспоминаний, связанных с зимой.

Мое первое, яркое, в цвете и с подробностями воспоминание относится к лету тридцать шестого года, когда мне было три года. Я сидела на крыльце, играла, как вдруг увидела, что по улице идёт ни на кого не похожий человек в длинной одежде и с чем-то смешным на голове. Я проводила его глазами и кинулась в дом:

– Мама, иди скорей, там кой-то чудной идёт!

Мама Натаня побежала за мной.

– Мама, это кто?

– Это, доченька, батюшка.

– Чей батюшка?

– Да всех батюшка.

– Так не бывает.

– Бывает, доченька.

– А где он живет?

– Пойдем, покажу.

Мы пошли во двор, мама Натаня посадила меня на плечи.

– Вон там, на горюшке, видишь белый домик? Вот там он и живет.

– А почему этот домик не такой, как все?

– Потому что это церковь.

– А что такое церковь?

– А вот я тебя как-нибудь возьму, ты и посмотришь.

– Возьми сегодня.

Мои расспросы пересказала мне позднее мама Натаня, когда я сказала ей, что помню вот, как поп шёл мимо дома, но не знаю, сколько мне было тогда лет. Мама Натаня вообще помнила прекрасно многочисленные эпизоды из моей жизни и часто пересказывала их мне, когда я приезжала на студенческие каникулы. Правда, тогда моё собственное детство ещё не очень-то интересовало меня, и я почти ничего не запомнила. Но ещё один разговор о церкви остался в памяти, хотя тогда я ничего не поняла. Как-то мы с деревенскими подружками поднялись к школе. Я глянула в ту сторону, где раньше стояла церковь, и почувствовала, что мне чего-то не хватает. Церкви не было.

– А где церковь? – спросила я Тоню. Она была года на два старше и всё знала.

– Разломали. Разобрали на кирпичи.

– Зачем?

– Не знаю. Наверное, чтобы попов не было.

– А они что, плохие?

– Наверно, плохие, не знаю.

Вечером я пошла с расспросами к маме Натане:

– Мама Натаня, а церковь была красивая?

– Красивая, дочка, красивая. Наша церковь изо всех церквей вокруг была самая красивая.

– Тогда зачем же её разломали?

– Да ведь Мамай гуляет по стране, Мамай...

– Какой Мамай?

– Мамай-то? Вот пойдешь в школу, узнаешь.

Она задумалась и, похоже, для себя сказала:

– Боюсь только, что про этого Мамайя вам правду уже никто не скажет...

* * *

Село у нас было большое, называлось Лукино, оно объединяло несколько деревень. Позднее я узнала, что колокол лукинской церкви был знаменитый, чистого серебра звон, слышно было далеко. И главный колокол был хорош, и подголоски были прекрасные. Иконостас был редкой красоты и много икон хорошего письма, в дорогих каменьях и серебряных окладах.

Деревня, в которой я родилась, называлась Ульяновка. Она была как бы центром села. В одном конце ее, через речку Сухую Ржаксу, слегка взбираясь на холм, была Ольховка. Там родилась мама. А в другом конце, через ту же речку, в низине, располагалась Поплёвка, где родились и выросли отец и его двоюродный брат Михаил, мой будущий крёстный. На задах у Ульяновки, у подножья холма, на котором располагались церковь, больница и кладбище, было выстроено несколько домов, и это место не совсем официально именовалось Жопинкой.

Мать отца, Авдотья Федотовна, в девичестве Иванова, умерла от воспаления легких, когда отцу было три года, а отец, Трофим Васильевич Вавилов, тоже недолго жил после неё, умер от тифа. Отца поднимал дед Василий, а после его смерти отца взял на воспитание его дядя Иван Васильевич, мой будущий папа Ваня. Отсюда отец и завербовался в Мурманск, когда ему исполнилось семнадцать лет.

Моего деда по матери звали Харламий Терентьевич Семенов, а бабушку – Александра Ивановна, до замужества Алексева. По бабушкиной линии были в XIX веке дворяне, помещики. На какой-то из моих прапрабабушек женился по великой любви помещичий сын, за что и был выгнан из дому и лишен наследства. По бабушкиной же линии в деревне Гудиловка живут родственники, которые попали к нам не то из другого конца тамбовской губернии, не то из воронежской, в обмен на собак. У тамошнего барина были хорошие собаки, он и обменял их на пару крепостных.

По отцовской линии были еще Кирилловы. Но дальше мне не удалось выяснить нашу родословную. К тому времени, когда я хватилась это делать, мама Натаня, наша ходячая деревенская энциклопедия, уже умерла, папа Ваня – тоже. А все церковные документы сгорели на Ржаксе во время гражданской войны, как горели они по всей России. Как говорят мои умные подруги, не без умысла против православия... Не без умысла против последующих поколений, у которых отнималось прошлое...

Дед мой, Харламий Терентьевич, до революции избирался три года старостой Покровского общества, в которое входили Ульяновка, Ольховка и Поплёвка. И после революции был уже председателем Покровского общества, тоже три года, а потом передал все дела одному из Буздалины.

Дед был из тех праведников, на которых веками держалась русская земля. Другие из Тамбова крендели и конфеты привозили, он тоже – дети, не без этого же, – но больше вёз книги. Когда дети были маленькие, он читал по вечерам сам. Потом стали читать подрастающие дети. Читали Толстого и Чехова, Короленко и Тургенева, Пушкина и Некрасова, читали и Чарскую. Дружно плакали, когда было что-то переживательное, подолгу говорили о прочитанном. Были у деда книги и по агрономии, и по пчеловодству. Он охотно делился добытыми из книг знаниями, любил обстоятельно поговорить с односельчанами. К нему приезжали за советом из других сел. Его уважали на селе. Но были и такие, кто завидовал. Ведь это они проголосовали в тридцать первом году за раскулачивание дедовой семьи.

Дед жил и до революции неплохо. Сам гнул спину от зари до зари, жена, дети сизмальства были приучены к работе. Дом был каменный, но уже старый, и перед самой революцией его разобрали, кирпичи пошли на фундамент, а построили деревянную, пятистенную избу, состоящую из кухни и горницы.

По-настоящему хорошо зажили после революции. Семья была большая, на каждого выделили по полторы десятины земли, получилось 15–16 гектаров. Работали так, как теперешним, даже самым трудолюбивым, деревенским работникам и в плохом сне не приснится. Пот вытереть – и то было жалко времени. Дед не зря читал книжки по агрономии: знал, на каком поле траву посеять, какому участку дать отдохнуть. Сеяли рожь, овес, горох, лен, гречиху, просо. Пшеницу не сразу стали сеять, не было традиции. Урожай даже в худородные годы снимали, что называется, «сам сто».

Пчёл развели, тоже применяя всё то лучшее, что было наработано пчеловодами России. Мама оказалась самой способной к пчеловодству. Они с дедушкой никогда не надевали сеток, пчёлы их не кусали.

Ближе к раскулачиванию у них было две лошади, две коровы, штук сорок кур, штук восемьдесят цыплят, овцы, свиньи.

Из тамбовских записей 1977 года, говорит мама:

«После семнадцатого года вообще начался подъём на селе, пахали, сеяли, помогали всем миром безлошадным. Каждый бедняк после революции поднялся. Кто умел работать, те стали жить хорошо. Плохо жили те, кто не хотел работать. Вон, у Гореловых, огород был рядом с нашим, борозда к борозде. Мы свой унавозим, прополем как следует, у нас картошка во какая. А у них навоз пропадает, им лень вывозить, прополют кое-как, тяп-ляп, у них она вот такусенькая и рождается. А другие и того ленивее были. Они и зарились на чужое. Конечно, разброд начался еще в гражданскую. Но от неё мы довольно скоро оправились, опять на ноги встали.

Если бы нас в колхозы не погнали, мы бы во как зажили. Сейчас колхозники, слава Богу, хорошо стали жить, хоть каждого раскулачивай. Да только сколько их осталось в колхозах-то? И те норовят в город убежать. И главное, разогнали и поуничтожили всех истинных работников, кто землю любил и своим потом ее удобрял. Людей от земли отвратили. Сначала пустыню сделали, а теперь пытаются на ней огород вырастить. Сорок с лишним лет пытаются, а страну накормить не могут. И для чего, спрашивается, народ обозлили, друг с дружкой лбами столкнули? Конечно, как вы теперь скажете, в самой идее коллективизации было рациональное зерно. Вон, послушаешь радио: в Америке, в Германии, во Франции мелкие фермеры разоряются, образуются крупные хозяйства. Значит, оно и у нас шло к тому. Но ведь не насильничать же надо было, а добром, да уговором, да примером. В рай палками не загоняют. Ты вот мне Залыгина прислала, я над его книгой слезами обливалась, как уж он все досконально описал, будто сам при этом был. А только у нас хуже было. У нас таких раскулачивали, у которых и надеть-то на себя нечего было. Манька-соседка сначала посмотрит, нет ли кого на улице, нет никого – она за водой бежит, людей стеснялась, потому что на ней дранье одно. И их раскулачили, как подкулачников, за то, что против нас не голосовали. У нас свой Давыдов был, из «двадцатипятидесятников», он ненавистной к людям был и сколотил таких же вокруг себя, они и орудовали, горлопаны. Соберут собрание: «Такие-то хозяева подлежат раскулачиванию, кто «за?» – и пошли громить».

А дальше говорит тетя Маня, говорит быстро, я не успеваю записывать особенности ее речи, улавливаю только смысл. Тетя Маня постарше мамы, и к моменту раскулачивания была замужем в другом селе:

«А нас-то за что? Как дочь раскулаченного. Свои же пришли грабить соседи. Кундук-Кузнецов, он на всю деревню своей завистью да жадностью славился, да Кундучиха, да другие такие же бесстыжие из колхозного правления. Взяли все, до последнего горшка, и между собой поделили, потом носили в открытую, бессовестные. И хоть бы какую бумажку показали, нет, какая там бумажка, пришли и ограбили среди белого дня. А тут еще комсомол пошел, а комсомолу приказывают: «Отбирай!» Он не имеет права не отбирать, ему приказывают. Некоторые председатели жалели, знали, кого назначат раскулачивать, либо сами тайком предупредят,

либо кого пошлют тайком. Хоть что-то да спасали люди, а то ведь совсем голых оставляли, как нас вот...».

Всю семью раскидало по соседним селам: деда приютили одни, дядю Сашу с бабушкой – другие, дядю Гришу – третьи, маму – четвертые. Дедушка так и не оправился от потрясения. Он начал быстро стареть. Всю жизнь он не брал в рот спиртного, а тут стал иногда попивать. Выпьет, плачет и повторяет:

– За что? За что? Красоту на земле губят, красота исчезает...

Он приходил посмотреть на меня, когда я была маленькая, но я запомнила его, когда мне было лет пять, и меня возили к нему в Гудиловку. Он был седой и благообразный, и совсем не похож на того молодого деда, который был у нас на фотографии. Он все обнимал меня, плакал и повторял:

– Внученька, внучушка...

Вот так и получилось, что дедушкой для меня стал отец мамы Натани, дед Федос. Он тоже был седой и степенный, сейчас бы мы сказали – патриарх. Как и дед Харламбий, он за всю жизнь чёртом не выругался. Был немногословный, ненавязчиво-ласковый, любил смотреть на закат и думать о смысле жизни.

А папа Ваня гонялся за смыслом жизни по всей стране, и где он только ни побывал: из Тамбова ехал плотничать в Сочи, из Сочи – в Мурманск, из Мурманска – в Казахстан, из Казахстана – на Дальний Восток.

Его дом – наш дом – был небольшой, но заметный. Он стоял под железной крышей, что тогда было редкостью, и был весь изукрашен деревянной резьбой – работа папы Вани. Особенно нарядным было крылечко, на котором я провела много счастливых часов. Крылечко выходило на улицу, в палисадник, а в нём росли вишни, сливы, смородина, сирень. Около самого крыльца и вдоль тропинки кустились веники, правильного названия которым никто не знал – веники и веники. В них хорошо было прятаться.

Помню всё это, пронизанное солнцем в дневное время и залитой жутковатым светом луны ночью. Помню, я подолгу смотрела, как играет солнце в вишнёвых листьях, как снуют по стволу муравьи, и как непонятной жизнью живёт вишнёвая смола. Каждый раз, когда меня привозили в деревню, я бежала первым делом к вишням. Когда они поспевали, я любила срывать веточки с вишнями и рассматривать их против солнца. Какая удивительная жизнь открывалась моим глазам! Иногда солнце просвечивало до самого зёрнышка. Не было ни одной вишни, похожей одна на другую. Я прикладывала вишни к серым перилам крыльца, к свежеструганным доскам, ко мху, к зелёным веникам, к полынным веникам и удивлялась тому, как меняется красный цвет. У меня были свои обозначения для каждого оттенка цвета. Я эти вишни никогда не ела, потому что они были живые, а ела только те, которые не рассматривала.

Утро начиналось с того, что я бежала по ту сторону дома, где по утрам расцветали кусочки неба в тёмнозелёной траве. Эти цветы, кажется, цикорий, боялись солнца и голубели только по утрам. А потом бежала по другую сторону дома, там росла мурава, голубовато-серая от росы. И я бегала, счастливая, по росе, до тех пор, пока пятки не становились ослепительно-белыми, даже голубыми. Набегавшись, садилась на ступени крыльца и слушала, как просыпается деревня: мычат коровы, звякают подойники, лают собаки, квохчут куры, хозяйки скликают кур. Солнце стояло прямо против крыльца, огромное, и на него ещё можно было смотреть.

Когда поспевали яблоки, их складывали под кроватью, и в горнице надолго поселялся яблочный дух. Я просыпалась оттого, что запах яблок щекотал ноздри: это мама Натаня клала их мне около подушки.

А из кухни доносились запахи блинов. Мама Натаня пекла их к завтраку. Никто во всей деревне не пёк такие блины, как мама Натаня. Она пекла их от самых тонких, почти прозрачных, до очень толстых, таких, как олады. И назывались они блины, блинчики и блинцы. В

одних было пресное молоко, в других – кислое, одни ставились на горячем молоке, другие – на холодном. Мама жила с мамой Натаней несколько лет, но так и не переняла её секреты, может быть, потому, что дольше всего она была с ней во время эвакуации, а тогда блины уже не пекли, не из чего было.

Когда мы садились завтракать, обычно в окошке появлялся бригадир Алёшка Пантелеев. С шутками, с прибаутками он давал назначение на работу. Мама Натаня, кивнув на меня, говорила:

– Алёшка, она опять левой рукой ест.

Алёшка становился серьёзным и говорил:

– Вот я скажу сегодня куме лисе, она вечером придёт и тебя, как колобка, и съест. Она не любит, кто левша.

– Ой, нет, я больше не буду.

Мама Натаня доставала из печки горшки с молоком и кормила меня вкусными коричневыми, хрустящими пенками. Мама смотрела на это неодобрительно:

– Вырастишь ты её на пенках, что из взрослой будет? Небошь, пенками никто её кормить не станет.

– Ничего, зато она у нас вон какая ненаглядная.

Мама Натаня собирала себе еду, брала меня за руку, и я шла провожать её до правления. Земля была ещё холодная, и меня слегка познабливало. Недалеко от правления была конюшня, там уже запрягали лошадей. Когда все собирались, Алёшка Пантелеев или сам председатель еще раз уточняли, кому куда ехать. Все рассаживались по телегам, смеялись, подшучивали друг над другом, в деревне были свои шуты и свои козлы отпущения. Часто тут же затягивали песню, так с песней и отъезжали. В воздухе оставался терпкий запах лошадей, навоза и поднятой пыли.

А впереди был огромный день с десятками многократно описанных прекрасными русскими писателями открытий окружающего мира, с купаниями и стрекозами, с бабочками и съедобными корешками, таинственными лягушками и с живыми игрушками: котятами, щенятами и ягнятами...

Вечером, когда садилось солнце, я не спускала глаз с дороги. И когда у верхушки Соколонского сада показывались первые подводы, я припускалась к конюшне.

– Ну, что, видела куму Лису?

– Знамо дело, видела. Вот она тебе гостинец прислала.

Мама Натаня доставала из мешка яйцо, или блин, или мед на доньшке кружки.

– А что она сказала?

– Она говорит: «У тебя есть дочка Ната?» Я говорю: «Есть». «Вот, – говорит, – отдай ей гостинец».

– А Алёшка её не видел, не сказал, что я левша?

– Не, он не видел, она только мне показалась.

Летом тридцать шестого года приехала мама с братом Стасиком. Когда они подъехали к дому, мама Натаня была в нижнем огороде. Я помчалась к ней.

– Мама, там Кланька приехала! И с ней маленький ребенок!

Меня переучивали в два этапа: сначала я звала и ту, и другую «мама Натаня» и «мама Клава», и уж только потом привыкла к тому, что мама – это не мама Натаня, а все-таки мама Клава.

В середине горницы повесили мою люльку. Я подносила к ней табуретку и разглядывала смешное существо, про которое мне говорили, что это мой брат. Я ревновала к нему, мне не нравилось, что все ходят вокруг него. Я утешалась тем, что он был рыжий и некрасивый.

Я выросла без слёз и крика. А Стаська вообще не подавал никакого голоса. Он спал или спокойно тарачил свои голубые глаза в рыжих ресницах. Мама всерьёз опасалась, что он будет дурачком. Соседка Машутка Бuzдалина говорила:

– Да ты сама дурочка, наговариваешь на ребенка. Он здоровый, молоко есть, пеленки сухие, нянек вон сколько, чего ж ему плакать?

Каждый вечер его купали в марганцовой воде. И все собирались вокруг корыта, смеялись над тем, как он бил ручками по воде и радовался беззубым ртом. У мамы Натани на каждый этап купания были свои прибаутки, а в конце, когда его поливали из кувшина, она всегда приговаривала:

– С гуся вода, со Стасика худоба.

* * *

Отец перепробовал в молодости много профессий: работал милиционером, был судовым монтажником, токарем, слесарем, сшибал вручную заклепки с корпусов судов, с тех пор остался на всю жизнь глуховатым. А потом стал работать котельщиком, хорошо освоил котельно-корпусное дело, и его, как специалиста, высоко ценили до войны, а после войны он считался лучшим в Мурманске мастером по котлам. Поэтому он всегда получал хорошее по тем временам жилище. Какое-то время мы жили в довольно просторной комнате второго этажа деревянного дома на Жилстрое. Вокруг всё время строили дома, постоянно визжали пилы, и остро пахло деревом. Кругом только доски и щепки, ни одной кучки с песком. Если мальчишки находили себе какие-то игры, то девочкам было довольно скучно, негде пристроиться с куклами. Однажды я уговорила несколько девочек, и мы предприняли большое путешествие в город – так на Жилстрое именовали центр города. Разинув рты, мы ходили около высоченных домов, заходили в магазины, с завистью смотрели на лотки с мороженым и красными прозрачными петухами. Около одного из них нас и поймал милиционер. В милиции долго не могли добиться нашего адреса, потому что никто из нас его не знал. По нашим туманным описаниям поняли, что речь идет о Жилстрое, повели нас туда, а там уже, в районном отделении милиции, были наши встревоженные родители. Всыпали ремнем всем, а мне, как предводителю, досталось особо. Суд вершила моя мать, потому что отец нас за всю жизнь пальцем не тронул. А мать изредка всыпала, обычно за то, что мы иногда дрались с братом. Помню, однажды я дала ей сдачи, била ее по рукам и кричала, что я не люблю её, а люблю маму Натаню.

Отец всегда приносил что-нибудь с полочки: конфеты, шоколад, печенье. А перед матерью он каждый раз разыгрывал целое представление. Зайдет, глаза веселые: «Ну, угадывайте, что я принес?» Мама смущенно улыбается, а мы отгадываем. Наконец, он широким жестом достает из-за пазухи то ослепительный отрез крепдешина, то шуршащий крепдешинный макинтош, то какие-нибудь неправдоподобно красивые туфли. А однажды, когда мы особенно долго отгадывали, он достал одну за другой две матроски – тогдашнюю мечту всех мальчишек и девочек.

Тогда же у всех нас была еще одна мечта: испанки. Их шили из подходящих кусков материи, а красные кисточки снимали с коробок пудры. Главное было – уговорить маму купить эту пудру, потому что она была довольно дорогая.

От тех лет осталось двойственное ощущение. С одной стороны, это впечатление легкости, с которой люди в то время жили. У родителей было много земляков, и они постоянно ходили друг к другу в гости. Чаще всего встречались у папиного двоюродного брата Иванова Ивана Алексеевича, потому что у них было просторнее всего. Оба они с отцом были щёголи, но отцу до Ивана Алексеевича было далеко. Про него говорили, что он два раза в день меняет рубашки, а жена его, тетя Даша, не расстается с корытом и утюгом. Чувало ли его сердце, что ему недолго оставалось веселиться? Его вскоре арестовали за то, что в годы гражданской войны он был в антоновской банде. Вообще тогда часто говорили об арестах, о тюрьмах, о черных «воронках». И это была другая сторона тогдашней жизни. Взрослые постоянно шептались, все время носили кому-то передачи в тюрьмы, часто упоминали в разговорах какой-то первый отдел.

Вскоре после ареста Ивана Алексеевича отца перевели в судоремонтную мастерскую в поселке Дровяное, который был на другом берегу Кольского залива, наискосок от Мурманска. Там нам дали однокомнатную квартиру в одном из двух самых лучших домов Дровяного. В каменном доме жили морские офицеры и начальство покрупнее, а в деревянном двухэтажном доме – начальство помельче, в том числе и отец. Мама говорила, что не может нарадоваться на квартиру. Хотя отапливались тоже дровами, но в доме был водопровод, а также отдельная кухня и уборная.

Против нас жила учительская пара. Взрослые шептались про них, что это ссыльные из Ленинграда. Что это такое, мы не понимали. Но мы, дети, знали то, чему в нашем языке еще долгие годы не было определения: что это были высокоинтеллигентные и добрые люди. В школе вокруг них табунились не только учащиеся, но и мы, дошкольники. Они завели живой уголок со всякими зверюшками, и не было отбоя от добровольных помощников. Они организовали при школе театр, и в этом театре состоялся мой дебют. Я должна была, как самая маленькая, играть мышку. Хлопот было много. Мы помогали Софье Ивановне шить костюмы, строить декорации. Школьный зал не мог вместить всех желающих, публика стояла у стенок и сидела на полу. Все шло хорошо, но в последней сцене мышинная маска на моем лице сползла с места, и я перестала что-либо видеть. Так как я была на четвереньках, то я, естественно, не могла себе позволить поправить маску. Я должна была удирать от кошки, но вслепую вместо того, чтобы убежать от нее, пошла ей навстречу и стукнулась с ней лбом. Публика взревела от неожиданного удовольствия. Я сообразила, что под хохот можно поправить маску, отвернулась и благополучно удрала от кошки. А после спектакля долго ревела, и Софья Ивановна утешала меня и говорила, что в следующий раз мы будем играть так, чтобы мы столкнулись с кошкой лбами, потому что публике это понравилось.

После этого театр надолго поселился в наших играх. Режиссировала наши комнатные и уличные спектакли обычно я, и мне особенно запомнились похороны кошки Мурки. Мурка жила в соседнем доме и была знаменита на весь поселок. Наверно, было в ней что-то особенное, потому что к ней сбегались коты со всего Дровяного. Сражения за обладание прекрасной дамой они устраивали не только по ночам, но и днем. А Мурка сидела чуть в стороне и делала вид, что к ней эти страстные вопли и баталии не имеют ни малейшего отношения. А спустя некоторое время в комнате у Иры, хозяйки Мурки, появлялись разномастные веселые котята, и мы выкармливали их общими усилиями. Но вот в один летний день Мурка, неизвестно от чего, сдохла. Мы все плакали, и я предложила похоронить Мурку на сопке, втайне от мальчишек. Я распределила, кому что принести: коробку, тюль, кукольную подушку. Нам действительно удалось все сделать так, что мальчишки ничего не заметили. Мы собрались на сопке, вырыли могилу, накрыли Мурку тюлем, насыпали ей в гроб леденцов. А потом я запричитала, как это делали в нашей деревне:

– Ой, да хорошая ты наша да расхорошая... Ой, да на кого ж ты нас покинула... Ой, да что ж теперь твои коты да будут делать-то...

* * *

Как-то мы шли табунком мимо штаба, спускались по деревянной лестнице, и вдруг я увидела в траве деньги, которые катил ветер. Я спрыгнула с лестницы, догнала деньги. Их оказалось двенадцать рублей, сумма, по нашим понятиям, огромная. Посоветовавшись, мы тут же направились в магазин и закупили конфет и халвы. Мы устроились за сараем, подальше от родительских глаз, и стали пировать. А потом играли, и вдруг раздались одновременно два родительских голоса:

– Наташа! Ира! Домой!

В голосах было что-то недоброе, и мы быстро сговорились, что вскоре опять соберемся на этом же месте.

Оказалось, что сработало «сарафанное радио»: все родители были оповещены продавщицей, что мы покупали конфеты. Мама начала допрос:

- Откуда у вас взялись деньги?
- Я нашла.
- Где нашла?
- У штаба.
- Где это у штаба?
- Под лестницей.
- Почему ты нашла, а другие не нашли?
- Потому что я первая увидела.
- А ты не врешь?
- Нет, не вру.
- Пошли туда, где нашла.

Собрались трое родителей, и мы пошли на место «преступления». При перекрестном допросе выяснились разночтения. Один показал, что деньги были в этом месте, другие – в другом. Нам не поверили, решили, что кто-то из нас украл деньги у родителей, и повели на расправу. Мать поставила меня в угол на кухне. Обычно я довольно скоро просила прощения, но тут решила: «Ни за что!»

Стояла очень долго, пока не пришел с работы отец. Он уже знал, в чем дело, во дворе рассказали. Он расспросил меня, я, глотая слезы, повторила всю историю. Он позвал мать в комнату, сначала они разговаривали тихо, а потом громко. Отец говорил:

– Ты зверь, зверь! И за это ты ребенка мучаешь? Она виновата, что деньги нашла? Подумаешь, что разные места показали!

Родители пришли на кухню. Отец сказал:

- Выходи из угла. Я тебя прощаю.
- А я не прошу прощения. Я не виновата.
- Ну, все равно выходи.

Несколько дней мы с матерью не смотрели друг на друга. Потом она сделала вид, что ничего не было.

В это же время произошло событие, которое повлияло на всю мою жизнь, во всяком случае, сыграло решающую роль в выборе будущей профессии. У одного из родителей в нашем доме появился фотоаппарат. Однажды, прекрасным весенним днем этот родитель собрал всех ребятшек нашего двора и сфотографировал нас у сарая. Когда фотография была готова, меня на ней не оказалось.

- А где же я?
- Да вот же ты, с веточками.
- Это не я.
- Нет, ты. Спорим, что ты? Стасик, где на фотографии Наташка?
- Вот она. В матроске. А вот я.

Трудно передать словами моё состояние, когда я убедилась, что эта некрасивая девочка с сощуренными глазами и нелепым ртом гузкой была я. До сих пор я росла в убеждении, что я красавица. Об этом говорили взрослые, об этом говорило зеркало. И вдруг эта фотография! Где «русалка», где «ненаглядная красавица», где «зеленые глазщи»? Если в этом возрасте бывают микроинфаркты, то он у меня был, потому что несколько дней у меня болело сердце, и мама водила меня к врачу.

Запомнился ещё один эпизод из этого же времени, связанный с фотографиями. Отца премировали путёвкой в Ялту. Он привез оттуда пачку больших блестящих фотографий, сня-

тых в основном в Никитском Ботаническом саду. Отец гордился тем, что побывал в этой сказочной стране. В его гордости было как бы предчувствие того, что больше уже никогда ему не придется съездить ни в Крым, ни на Кавказ. Необыкновенность этой поездки отец видел ещё и в том, что некоторые снимки были сделаны на фоне церкви, в которой снимали «Праздник святого Иоргена» как раз тогда, когда отец отдыхал там. Я заметила, что мама иногда подолгу рассматривала эти снимки и тяжело вздыхала. А однажды, играя с куклами, я услышала, как она говорила соседке, показывая ей фотографии:

– Мне думается, что вот эта. Видишь, она тут с ним рядом, и тут тоже.

– Да брось ты, Клава, расстраиваться. Они все кобели. Как ступят за порог дома, так и забудут про всё на свете.

Дальше соседка говорила шёпотом, а мама слушала её с каменным лицом, и по нему катились редкие слёзы. Сердце моё сжималось от жалости к ней. Теперь я понимала, почему мама ни за что не хочет надевать берет и воротник-пелерину, которые отец привёз ей из Крыма и которые были связаны из непряженной длинноволосой шерсти крымских овец. Эти воротники и береты были тогда очень модными.

* * *

В 1940 году отцу предложили лучшие условия в посёлке Роста, неподалеку от Мурманска, на той же стороне Кольского залива, и мы переехали туда. У нас было теперь две комнаты в двухэтажном доме барачного типа. Роста мне не понравилась. Она была какая-то унылая, серая, играть на улице было негде, лес был гораздо дальше, чем в Дровяном, и родители редко отпускали нас туда одних: почти всегда с нами ходил кто-нибудь из взрослых. Но зато мне вскоре привалило неожиданное счастье. Из деревни приехала не то знакомая, не то родственница – в деревне почти все оказывались родственниками, стоило только хорошо покопаться в родословных. Ее звали Вера Сигачева. Она была красавица. До сих пор я не видела в жизни таких красивых девушек. У неё были необыкновенная кожа, зеленоватые глаза, похожие на кошачьи, и ослепительные белые зубы. Она жила какое-то время у нас, пока не устроилась на работу. А приняли её билетершей в Дом Офицеров. И счастье заключалось в том, что я могла теперь ходить в кино бесплатно. Фильмов тогда выпускали мало, и я смотрела одни и те же фильмы по несколько раз. Иногда, если у мамы было хорошее настроение, я просиживала в зале по два сеанса подряд. О Любви Орловой сказано столько прекрасных слов, что вряд ли я бы сказала что-то новое, если бы попыталась выразить своё восхищение ею. Я уже за то благодарна жизни, что однажды, много-много лет спустя, судьба свела нас за одним обеденным столом в ресторане «Европейской», и я, немного волнуясь, попыталась сказать ей, как я её любила и желала ей добра, как благодарно должно быть ей наше поколение, жизнь которого она озарила своей замечательной улыбкой.

А тогда, в Росте, я наворачивала на себя тюлевые занавески, подкладывала в носки пустые катушки из-под ниток, забиралась на табуретку и пела:

Зиги-зиги ду,
Зиги-зиги ду,
Я из пушки в небо уйду,
В небо уйду.

Катушки срывались и больно впивались в пятки, но какое же искусство не требует жертв... Зато подруги были довольны и говорили мне, что «вот здесь» и «вот здесь» я похожа на Орлову. Одно «вот здесь» означало скулы, другое – овал лица, но мы тогда таких слов не знали.

И первой моей любовью был, конечно же, Евгений Самойлов. Я не знаю, что бы накрутили на эту тему психоаналитики, но первый сексуальный толчок что-нибудь да значит. Иначе не было бы так, что всю жизнь я отмечала в толпе и всюду похожих на Самойлова, и позднее вышла замуж за человека со сходным типом лица.

Я не помню, чтобы до войны демонстрировались фильмы-балеты. Но, наверно, в киножурналах кое-что показывали, потому что вдруг я стала твердить, что буду балериной. Я танцевала под любую музыку, которую передавали по радио, пыталась и на вытянутых пальцах, набивала в носки вату, пробки, падала, плакала, но все-таки танцевала. На втором этаже жила одна очень интеллигентная пара, оба инженеры, оба из Ленинграда. Наверно, мама им сказала, что я пытаюсь танцевать. Однажды они позвали меня к себе и дали мне два больших бархатных зеленых альбома. При виде первых же фотографий сердце моё сжалось в комочек. Это были снимки Анны Павловой. Ничего более прекрасного я не видела даже в кино. Я впитывала в себя линии её рук, плеч, ног, талии. Там были и другие балерины, но они не были так прекрасны, от них, выражаясь языком современным, не исходили такие флюиды, которые я тогда интуитивно ощущала. Я стала часто бегать на второй этаж. Постучусь, зайду, поздороваюсь и – стесняюсь сказать, зачем пришла. Но хозяева убедились, как аккуратно, стараясь не дышать, я переворачиваю страницы, и они ни разу мне не отказали. Они часто поили меня чаем с очень вкусным вареньем и необыкновенными конфетами, которые им присылали из Ленинграда.

В июне 41 года мама, по чьей-то рекомендации, повела меня в Дом Офицеров. Руководительница балетного кружка попросила маму раздеть меня до трусиков, долго осматривала меня, щупала подъем, потом сказал мне, чтобы я что-нибудь станцевала. Я вначале стеснялась, но потом разошлась и даже показала Орлову. Руководительница долго, но по-доброму смеялась и велела маме привести меня осенью. Она сказала, что будет заниматься со мной по особой программе, чтобы я сумела наверстать то, что умеют делать другие.

А через несколько дней объявили войну. Странно, что до сих пор приходится встречать в литературе оправдательное утверждение, что, мол, войны не ждали, во всяком случае, так скоро. Ждали. И скоро. Я прекрасно запомнила обрывки разговоров отца со своими приятелями. Они говорили о войне, говорили о том, что она не за горами.

А в нашей семье войну предсказал кот Васька. Черные коты редко бывают красивыми. У этого же была очень симпатичная и умная мордашка (так и хочется сказать – лицо). На лбу у него была белая звездочка, на груди – белая манишка, и все четыре лапы – белые. Достался он нам по случаю. Хозяева плакали, отдавая его. Они жили тут же, через стенку. У них родился ребенок, и раз-другой они застали Ваську за тем, что он, забравшись в кровать к ребенку, с любопытством разглядывает его. Они, естественно, испугались и отдали кота нам. Васька быстро привык к новой семье, хотя первое время тосковал. Он был необыкновенная умница, как собака, все понимал. Он любил шоколад и соленые огурцы. Ему было суждено совершить переворот в сознании моего отца и в его отношении к будущим нашим котам. Отец был в молодости известен как первый деревенский живодец, и стоило больших трудов уговорить его взять кота. Помогли наши со Стасиком слезы. Так вот Васька приручил отца тем, что он каждый вечер встречал его с работы. Своим чутким кошачьим ухом он слышал шаги отца за дверью, одним прыжком взлетал на дверь, обшитую каким-то мягким материалом, дверь открывалась, и вторым прыжком Васька прыгал отцу на грудь и начинал ласкаться. Расчёт был потрясающий, как в хорошем цирковом номере. Но однажды что-то не сработало, Ваське придавило дверью лапу, и несколько вечеров он просто встречал папу у порога. А потом опять начал прыгать. И, как признавался отец, позднее, когда мы эвакуировались, Васька настолько согрел его существование, что отец плакал о нем, как о близком человеке, когда Васька погиб. А погиб он трагически. Он не ходил на улицу, а гулял, усевшись в форточном проеме. Однажды в соседний дом ударила бомба. Напротив нашего окна стояла запряженная в телегу лошадь. Оба животных испугались взрыва. Васька, наверно, инстинктивно искал защиты у живого существа, потому

что он бросился к лошади, а лошадь от испуга понесла, и Ваську задавило. Все это рассказал отцу один из соседей, свидетель происшедшего. Об этом отец написал нам в деревню, и мы все горько плакали.

А за три дня до войны Васька, этот кошачий Нострадамус, вспрыгивал на плечи маме, которая сидела за швейной машинкой, и ласкался, ласкался к ней, не давая ей работать. Мама брала его на руки, целовала и говорила:

– Милый, да какую же беду ты мне предсказываешь?

Я очень хорошо запомнила это, до сих пор у меня в ушах мамина интонация:

– Да умница ты моя, да что ж ты хочешь мне сказать?

Мурманск рано начали бомбить, на Росту тоже сбросили пару бомб, но они разорвались в порту, и мы этого не видели, только слышали отдаленные взрывы. В начале июля мы эвакуировались. Сборы были скорые и суматошные. Отец настоял на том, чтобы мы взяли немного вещей с собой. Он был убежден, что война скоро кончится. Нас погрузили на второй этаж наспех сколоченных нар в товарном вагоне. Второй этаж – это было маленькое счастье, потому что с водой было плохо, дети и взрослые поносили, и сказать, чем это оборачивалось, мешает элементарное чувство брезгливости.

Ехали мы долго, останавливались иногда на несколько часов, пропуская срочные составы. В Иваново-Вознесенске был тупик. Нас сначала распределили в город Родники, а оттуда направили в прелестную деревушку. К маме очень хорошо отнеслись, нас устроили в просторном чистом доме. Мы быстро подружились с деревенскими ребятами, бегали с ними купаться в прозрачной живописной речке, ходили за земляникой. Леса со всех сторон вплотную окружали деревню, и земляники было очень много. Мы недолго там прожили, потому что вышел какой-то указ, разрешающий эвакуированным ехать в их родные места. И мама решила ехать в свою деревню, потому что, как говорится, дома и солома едома. Мы сели в Кинешме на пароход и несколько дней плыли по Волге до Камышина. У парохода было длинное и таинственное имя «Чайковский». Почти каждый день на нем менялись грузы: то это была клубника, то белые мыши, то овчарки устрашающего вида. Когда я спросила маму, для чего столько много овчарок, она почему-то испугалась и стала шёпотом говорить:

– Не спрашивай! Значит, нужно, раз везут. И не вздумай у кого-нибудь спрашивать!

В памяти осталось волнение всего населения парохода, когда мы проплыли мимо утеса Стеньки Разина. А в другой раз все опять собрались на одной стороне парохода, потому что мы проплывали мимо огромного портрета Сталина на высокой скале.

Сама по себе Волга не произвела особого впечатления, потому что мы привыкли к Кольскому заливу. А денег на то, чтобы теперь проехать по Волге, у меня, наверно, никогда не будет. Все, кому посчастливилось совершить это путешествие, говорят, что только во время него и начинаешь понимать по-настоящему русскую историю и русскую душу...

Мы добирались до родных мест больше месяца. И, наверно, даже мы, дети, здорово устали за это время, потому что я хорошо помню то ощущение глубокого покоя, которое охватило меня, когда мы ехали в телеге с душистым сеном со станции Ржакса. Когда мы приехали, то узнали, что утром хоронили бабушку Афимью, мать мамы Натани. Нас кормили вкусной кутьей и другой поминальной пищей.

Август – теплый, душистый, с яблоками – принял нас в свое лоно. И для меня начались два самых счастливых, два самых осознанных года моей жизни.

* * *

Снова пеклись блинчики к завтраку, снова я сидела на крыльце и смотрела, как из-за рощи выплывает огромное, несущее радость солнце, снова бегала по росистой мураве. А потом мы со Стасиком провозжали маму Натанию и маму к правлению. Бригадиром был всё тот же

однорукий Алёшка Пантелеев, который так же с шутками, с прибаутками распределял женщин на работу. Женщин... Тут-то и крылось отличие от довоенного времени, которое я вначале никак не могла понять: почти все мужчины уже воевали. И еще было отличие. Теперь было мало лошадей, лучших забрали на войну. На дальние поля еще давали лошадей, а на ближние, в трех-четыре километрах, женщины и немногие мужчины шли пешком. Петь почти перестали.

Стасика я оставляла в детском саду, который тогда впервые открыли в бывшем мельничьем доме, где помещалось также и правление колхоза.

Дом был большой, и я с любопытством ходила из комнаты в комнату, пытаюсь представить, как тут жили до раскулачивания четыре брата, четыре холостяка Семёновы, должно быть, тоже наши родственники по маминой линии. Они много почудили на своём веку, особенно старший, Иван Филиппович. Отец рассказывал о нём: «Он, как выпьет, ему охота поселиться. А с кем? Не с кем, никого нет. Он выйдет с гармошкой и говорит грачам:

– Зны (значит), танцуйте!

Один грач гаркнет, другие молчат.

– Зны, танцуйте, вам говорят!

Молчат. Он берет ружье: бах! бах! Грачи: «Гар! Гар!»

– Зны, говорил, танцуйте».

А где-то уже в более позднее время Андрей Филиппович, которому в тридцать седьмом году дали десять лет, и он их полностью отсидел, а после мотался по всей стране в поисках лучшей доли, сказал моему отцу.

– Где бы советской власти начаться лет на десять пораньше. Раскулачили бы нас тогда на десять лет раньше. Я хоть свет повидал, а то у мельницы-то просвета не было, чертоломили с рассвета до заката...

Я смотрела на клены, которые теперь отступили до самой мельницы, и думала: «А живы ли те грачи, которые не хотели танцевать?»

Мельница уже работала, перемалывая зерно нового урожая, и кругом далеко раздавался ее характерный и какой-то очень уютный звук: «Тук-тук-тук...».

С утра мы с подружками играли в куклы либо у нас на крыльце, либо в смородиновых кустах у соседки Тони, подальше от мальчишечьих глаз. Мы делали куклам кровати и диваны из ярких и колючих цветов лопуха, шили им платья. Когда земля и вода прогревались, мы купались подолгу и шли обсыхать в лес. Около нашей деревни было два леса: Тоненькая и Долгая, почему-то женского рода. Видимо, они выросли на склонах расползшихся оврагов, потому что по форме напоминали сложенные для мытья ладошки. Ближе к нам была Долгая. Чаще всего мы туда и бегали, скорее всего не потому, что этот лес был ближе, а потому, что он был более светлый, разреженный, не такой мрачноватый, как Тоненькая. Обычно дальше родника мы редко заходили, побаивались: за родником лес был такой же мрачный, как и в Тоненькой. В лесу было всегда интересно и всегда находилось что-нибудь, что можно было пожевать. В первые весенние дни там расцветали медуницы и другие цветы, названия которых я не помню, но которые можно было срывать и обсасывать сладкий сок у основания лепестков. Позже поспевала земляника, затем малина, ежевика и костяника, потом шли орехи и грибы. А сколько там было разных корешков, дикого лука, дикого чеснока, каких-то съедобных трав. Я всегда набирала меньше других ягод и грибов, потому что мне никогда не надоело наблюдать за жизнью леса. Обычно я отставала от других, садилась или ложилась на живот и смотрела, и слушала, слушала, слушала...

Мы играли в лапту, в штандр, горелки, прятки. Так незаметно проходил день, а ближе к вечеру я заходила за Стасиком, мы шли домой, и я чистила чугуны, а то и два картошки, пахтала масло, когда собиралось достаточно сливок. Мы бежали встречать маму Натаню и маму и, хотя мне уже было восемь лет, я все еще верила, что это кума Лиса присылает нам гостинцы, как

верила и тому, что меня нашли в капусте в нижнем огороде, хотя уже прекрасно знала в это время, откуда берутся дети у людей и у животных.

К тому времени, когда картошка была на столе, мы со Стасиком чаще всего уже засыпали, нас с трудом расталкивали, сажали за стол, и мы клевали носом и тыкали вилкой мимо сковородки. Потом мыли ноги и моментально засыпали.

Первого сентября я пошла в школу. В отличие от хрестоматийного утверждения, что человек всегда помнит первую учительницу, я свою не запомнила: ни лица, ни имени. Так как понаехало много эвакуированных, классных комнат в школе не хватало, учителей тоже. Поэтому мы занимались по два класса в одном помещении, при одной учительнице. Первый класс садился справа, третий – слева. Учительница давала задания и работала с одной половиной, потом с другой, и так нас чередовала. В сорок первом году ещё были и тетради, и перья, и чернила, и резинки. Но уже через год с бумагой стало плохо, с другими школьными принадлежностями – тоже. Чернила мы изготовляли из каких-то наростов на дубовых листьях. Писали на газетах, канцелярской бумаге, которую нам давали в правлении колхоза.

В октябре 41 года учеников стало еще больше. В нашу деревню распределили большую партию эвакуированных евреев из Белоруссии. Так как наш дом считался просторным, к нам поселили восемь человек: троих взрослых и пятерых детей. Взрослые были Аня Гитлина, ее мать Сарра, сестра Ани Дора Каменкович. Все дети были Анины, Мишка и Сона уже большие, им было 15 и 16 лет, другие поменьше. Дора Исаковна была учительница, она пошла преподавать в среднюю школу, так называемую ШРМ (школу рабочей молодёжи), которая помещалась в бывшей конторе барина Соколонова. За короткий срок Дору Исаковну полюбила вся деревня. Она излучала доброжелательность, за словом в карман не лезла и была большая хохотушка. Как-то мама Натаня спела частушку про Сталина:

Ах, Йося дорогой,
Карие твои очи.
Всех крестьян в Сибирь загнал,
А евреев – в Сочи.

Дора Исаковна залилась хохотом:

– Ну, Наташа, ну, тамбовские, все заметят. А ведь и впрямь в Сочи, ха-ха-ха.

Вся деревня вскоре знала, что в Борисове осталась почему-то сестра Ани и Доры, красавица Фири. К нам приходили смотреть ее фотографии. Фири была снята сидящей на невиданно прекрасном кожаном диване с резной полочкой, на которой были расставлены семь слоников. Через плечо Фири была перекинута черная толстая коса, у Фири были красивые черные глаза.

– Ой, что же будет с нашей Фири, с нашей красавицей, – причитала Аня.

Семейство прожило у нас до лета следующего года. За это время взрослые ни разу не поссорились, хотя маме и маме Натане приходилось со многим мириться. Как мы, тринадцать человек, помещались в кухне и горнице, я себе сейчас не могу представить. Но ведь как-то обходилось. Каждый вечер по всей горнице расстилали солому и сено для ночлега, утром собирали. Мыла не было или почти не было, у нас были вши и в волосах, и в белье.

Дора Исаковна подружилась с нашей местной учительницей Лидией Ивановной Крыловой. Они обе курили и приучили к этому маму:

– Закури, Клава, легче станет.

Мама раз закурила, другой, действительно, стало легче, так и курит до сих пор, хотя отец и пытался с этой привычкой бороться.

Зимой приезжал в отпуск по ранению дядя Боря, отец семейства. Он был в офицерской форме, и у него был какой-то орден. Дядя Боря привёз печальную весть: Фири погибла в концлагере под Минском.

В первый вечер все собрались за общим столом. Мама Натаня нажарила на двух больших сковородках картошку с привезённой дядей Борей колбасой, взрослые пили разведённый спирт, и все мы пили чай с уже почти забытым сахаром.

Мама Натаня пела «Хаз Булат удалой» и частушки. Кое-какие частушки она пела на ухо дяде Боре. Он только кричал, смеялся и спрашивал:

– Наталья Федосеевна, а вы не боитесь?

– Волков бояться – в лес не ходить.

Летом сорок второго года немцы стали подходить всё ближе, Тамбов всё чаще бомбили, днём и ночью над деревней пролетали самолеты, и Гитлины, как и другие евреи, собрались и поехали дальше на восток, к Уралу. В одном из соседних домов жила наша старшая подружка Бэлла. Она почему-то одна осталась в деревне. После того, как мы летом сорок третьего года уехали назад, в Мурманск, её приютила мама Натаня. Она привязалась к Бэлле, как к родной дочери, от неё Бэлла выходила замуж, ей попался на Ржаксе хороший парень, потом они с мужем уехали куда-то к бэллиным родным, и они долго присылали маме Натане письма.

В классе я подружилась с дочерью Лидии Ивановны, Люсей Крыловой. У неё, правда, была отцовская фамилия, очень редкая – Отрюх. Но так их никто не звал, Крыловы и Крыловы. В своё время их раскулачили наполовину, т. е. сломали у них половину их дома и вывезли то, что было в этой половине. Так и стояли их полдома в старом саду, чуточку на отшибе ото всей деревни. Было такое впечатление, что какой-то огромный зверь откусил полдома, а полдома оставил. Как-то незаметно получилось так, что мы с Люсей отделились от остальных деревенских. Наверно, это произошло на почве нашей любви к чтению. У них в доме было много книг, кроме того, прекрасная библиотека была в ШРМ. Как она там сформировалась, не знаю. Старинные книги были из помещицкой библиотеки, а вот кто собирал уже новейшие книги, узнать не пришлось. Родители научили меня читать ещё до школы, но почему-то вначале во мне охоты к чтению не обнаруживалось. То ли не было хороших книг в Росте, то ли ещё почему-то, но чисто детских книг мне читать не пришлось, я сразу начала с Горького, Короленко, Чехова, Достоевского. Обиды и унижения Алёши Пешкова, обречённость детей подземелья, страдания Ваньки Жукова так хлестали меня по сердцу, что я часто плакала над страницами, иногда навзрыд. Мне было жалко и Козетту, и Эсмеральду, и Квазимодо, и Оливера Твиста, я тоже плакала над их обидами но всё-таки такого щемящего чувства, остающегося надолго, не проходящего даже во время беззаботных горелок и прятков, они во мне не вызывали, они были чуточку далековаты от той понятной и близкой жизни, какая открывалась мне на страницах русских писателей.

Соседка напротив, Машутка Буздалина, которая по инвалидности не работала в колхозе, видела, как я часами просиживала летом на крыльце, а зимой у окошка, приходила в ужас от толщины книг и жаловалась маме, говорила, что я ослепну. Мама только улыбалась в ответ на эти жалобы, потому что она сама любила читать, и если за годы эвакуации не прочла ни строчки, то только потому, что деревенская, колхозная жизнь, работа с восхода до заката не позволяла ей делать это. И, пока она она орудовала у печки или делала что-нибудь по дому, я пересказывала ей прочитанное.

Зимними вечерами, когда мама Натаня была посвободнее, она рассказывала нам сказки. Она была вообще великолепным рассказчиком, рассказывала всегда по-разному, с живыми деталями и очень остроумно. Не могу себе простить, что я не записала ни одного её рассказа, когда приезжала в Тамбов на студенческие каникулы и хохотала до слез над её анекдотами из деревенской жизни.

Больше всего мы со Стасиком любили, когда она рассказывала о Золушке и об аленьком цветочке. Обычно мы забирались на печку раньше неё, устраивались поудобнее и не засыпали, хотя мама Натаня иногда задерживалась с хлопотами по хозяйству. И разве это не счастье – слушать в талантливом исполнении сказки, лёжа на тёплой печи?..

Вероятно, мама Натаня была прекрасным стихийным педагогом. Начала и концы её педагогики были любовь и доброта к детям, любовь и доброта ко всему живому. Она ни разу не повысила на нас голос и, если и подчиняла нас своей воле, то делала это весело и по-доброму. Её скуластое скифское лицо с беличьими глазами лучилось приятием жизни даже в самые трудные минуты. После войны она жила с папой Ваней на Дальнем Востоке в звероводческом совхозе. Там она пошла работать уборщицей в детский сад. Но фактически она работала воспитателем и, видно, столько она обогрела своей любовью, что дети горько плакали, когда она пришла прощаться с ними, плакали и потом: «Где наша няня?» – а заведующая детским садом долго писала ей благодарственные письма.

* * *

Мы пережили в деревне две весны, и обе были бурными. Реки разливались, ольховские и поплёвские дети оказывались отрезанными от Ульяновки, где были обе школы, и для нас наступали дополнительные каникулы. Мальчишки изготавляли ходули, давали походить и нам, девчонкам. По улицам с холмов бежали радостные ручьи, на снегу образовывались корочки, и было весело слышать, как хрустели эти корочки под нашими ногами или от удара палками. Солнце искрилось не только в небе, но и на снегу, и в звенящих ручьях.

Земля постепенно просыхала, солнце пригревало все сильнее, и в один прекрасный день наступало чудо цветения садов. У нас в деревне были на разных ее концах два больших колхозных сада: бывший барский, Соколонский, сад и Туманов. Туманов был когда-то богатым мужиком. В 41–42 годах у всех еще были палисадники, это их потом вырубил, когда невесту стало платить за каждое деревце непомерные налоги, которые брали независимо от того, давало дерево плоды или не давало.

В Туманов сад мы редко ходили, а Соколонский сад, который взбегал по холму сразу же за правлением, был неотделим от нашей детской жизни. Он не был бы так хорош, если бы лежал на ровной поверхности. Но он простирался от подножья холма до его вершины и еще немного дальше, до самых полей. И разве слова в состоянии описать это бело-розовое марево, которое открывалось твоим глазам, как только ты переступал порог дома! И сколько бы ты ни смотрел на цветущие яблони или вишни, не было ни одного цветка, похожего один на другой. Одни были совсем белые, с едва заметными прожилками, другие украшены розовым цветом, третьи – почти полностью розовые.

Внизу был старый сад, он охранялся, мы там не играли. А наверху был запущенный молодой сад с пчельником, а дальше шли старые яблоневые и грушевые деревья. Среди них были развалины усадьбы Соколоновых, а чуть подальше, у дороги, двухэтажное здание бывшей барской конторы, в котором размещалась средняя школа и библиотека.

Усадьба заросла густым кустарником, пробраться через который было почти невозможно. Но мы все-таки пробирались и бродили по развалинам. Было что-то жуткое в этих обломках кирпичей, поэтому мы не ходили туда в одиночку и всегда разговаривали там шёпотом, как на кладбище. Но однажды я пошла в библиотеку, и ноги сами понесли меня на усадьбу. На мне было плохонькое платье, я не боялась порвать его, поэтому я решила пробраться туда, где мы еще ни разу не были. Я ползла по земле между какими-то колючими кустарниками и, поцарапавшись и порвав в нескольких местах платье, оказалась на поляне, заросшей травами и окруженной с трех сторон вишневыми деревьями. И вот ближе к этим деревьям я вдруг увидела такие необыкновенные цветы, что у меня замерло сердце, потому что я сразу решила, что это души умерших Соколоновых перешли в цветы. Они были причудливой формы и очень поразному окрашены, на каждом цветке были различные оттенки розового и фиолетового цветов. Я долго смотрела на них, не решаясь сорвать, боясь, что, как в сказке об аленьком цветке, появится вдруг какое-то чудовище... Но все-таки сорвала, перекрестившись на всякий случай.

Назад ползти было ещё труднее, потому что я боялась повредить цветы. Дома поставила цветы в воду, вечером показала их маме и маме Натане. Они таких цветов тоже не видели. И только через несколько лет в каком-то пособии по ботанике я увидела рисунок этих цветов и узнала, что их зовут красивым латинским именем «аквилегия», что по-русски переводится как водосбор.

Еще одна прекрасная сказка пришла на мою долю на пасху сорок третьего года. Мы собирались табунком катать яйца у старых дубов, что росли недалеко от тока на горе. На самом деле это была никакая не гора, а просто склон того же холма, на котором раскинулся Соколонский сад. Но мы называли его горой. Было решено идти лесом до родника, а уж оттуда подняться к дубам. Лес был еще сырой, почки едва наклюнулись, но земля голубела от подснежников. В разных областях называют подснежниками разные цветы. У нас в деревне это голубые цветки с пятью стрелчатými лепестками. В том же пособии по ботанике, где я увидела аквилегию, был рисунок и нашего тамбовского подснежника с соответствующей латинской надписью.

В этот день солнце особенно переливалось, радовалось жизни и радовало нас бликами на земле и изумлённым дрожанием воздуха.

Все напились у родника и пошли дальше. А я осталась с замершим сердцем. Замерло оно потому, что чуть в сторонке от родника, среди голубых подснежников, росли два белых. Они стояли не совсем рядом, а на некотором расстоянии друг от друга, но на таком, что ясно было, что они принадлежат друг другу. Я стояла, боясь дышать, понимая, что неспроста эти белые души из сказок оказались около родничка, около ЖИВОЙ воды. И столько волшебной небесной музыки звучало вокруг, что сердце неспособно оказалось вместить всю эту красоту, и я заплакала...

В то время каждый шаг за порог дома был шагом в мир красоты и божественных запахов. Всевозможные травки, непохожие одна на другую, высокие травы, кустарники, повилика, мальвы, шиповник, бабочки – всё жило, дышало, переливалось красками, за всем этим была сказка, тайна...

А небо?! От нежнейших полутонов восхода до пугающих своими кровавыми красками закатов... Сколько часов провела я, лёжа в траве или на сене и наблюдая бесконечную игру облаков и туч.

Деревенские дети, даже если они живут в не очень благополучных семьях, гораздо счастливее городских. Эта слиянность с космосом и окружающей красотой чаще формирует характеры, глубоко нравственные по сути своей. И без этой слиянности не было бы таких солнечных всплесков, как Шопен или Есенин. Или Шукшин. И других детей добра и света...

* * *

А внутри дома красоты не было. С каждым месяцем жизнь становилась все труднее. Все, что колхозники производили тяжким трудом в своём подсобном хозяйстве, облагалось налогами, заготовками, поставками и бесконечными поборами под различными названиями. Эвакуированным давали хлеба, хотя и немного, а маме, соседке тете Дусе и другим, уехавшим в начале 30-х годов в Мурманск, ничего не давали, они считались местными.

Первый урожай картошки отбирали полностью для армии. Система поборов была хорошо продумана. В обозе были киргизы, они были безжалостны к русским и оставляли только чуть-чуть мелочи. Яиц и масла нам совсем не доставалось. Чтобы выполнить поставки, продавали что-нибудь из одежды и еще подкупали на базаре в Ржаксе. Мама Натаня на такие случаи знала множество частушек, я запомнила только одну:

Привели меня на суд,

Я стою, трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся.

Лето 42-го года было неурожайным на фрукты, а сдавать яблоки и вишни всё равно были обязаны с каждого дерева, и зимой 42–43 года почти все палисадники и сады были вырублены. Надо ли говорить о том, что творилось в душе хозяина или хозяйки, которые годами и десятилетиями холили каждое деревце, поливали его водой и потом...

Этой же зимой правление колхоза встало на постой в нашей избе. Оно переехало из мельниковского дома потому, что комнаты в нём были большие, потолки высокие, требовалось много дров, а их в колхозе было мало, как раз столько, чтобы протопить обычный дом. Правление разместилось в горнице. Там мы теперь только ночевали, а вся жизнь проходила на кухне. Навидались мы за зиму всяких уполномоченных и заготовителей столько, что на всю жизнь хватит ощущения жестокости и несправия. Помню, как особенно зверствовал один, который выколачивал деньги на танк «Тамбовский колхозник». Было такое благое патриотическое деяние по всей стране... Из-за закрытой двери слышались крики, мат, стуки кулаков об стол. Редко кто, будь то мужик или баба, выскакивали из горницы без слез. Всем в пример ставили некоего Ферапонта Головатого из соседней области, он до войны продавал мёд и дал сумму, которой хватило на постройку целого танка.

А еще один заготовитель с навек перекошенным ненавистью к людям лицом собственноручно отсадил у дедова тулупа весь низ, да почему-то неровно. Это был последний тулуп, один на

всех, другие два отобрали ещё раньше. И дед, и мама Натаня умоляли его оставить тулуп, но их слезы не помогли. Разумеется, никаких квитанций не давали. Все прекрасно знали, как наживались на таких поборах эти недочеловеки, облечённые неограниченной властью военного времени.

В одном из наших учебников была картина кого-то из передвижников «За недоимки». На картинке было нарисовано, как барский приказчик уводит у крестьян корову. Я спросила у мамы, в чём разница между царским временем и теперешним. Мать побелела.

– Кто тебя этому научил?

– Никто не научил, вчера сама видела, как тулуп отбирали.

– Ишь ведь что удумала, пропастная! Да ты понимаешь, что ты нас всех загубишь?!

И она побежала в коровник к маме Натане. Я поняла по лицу мамы Натани, когда она пришла с подойником, что она всё знает и, улучив минуту, когда матери не было, подошла к маме Натане.

– Мама Натаня, так какая разница?

– Дочка, разницы никакой. Только раньше царь царём назывался, а теперь его вождём кличут. Прежний царь русский был, у него жалости к людям чуть поболее было, чем у этого грузина. Восточные люди – жестокие люди. Только тебе, дочка, об этом рано голову ломать. А если скажешь ещё где-нибудь такое, то и мамку и меня в тюрьму посадят, а то и расстреляют. Поняла?

– Поняла... Мама Натаня, значит, и Семёновну поэтому петь нельзя?

– Ну, смотря какую.

– Ну, вот эту:

«Ах, Семёновну
Все поют, поют,
А за Семёновну
Десять лет дают».

– Лучше не петь.

– А зачем же ты на ухо дяде Боре пела, я слышала?

– Да тоже по дурости. Чужих рядом не было, маленько выпили, как тут не попеть.

Но был среди уполномоченных по заготовкам один полковник, которого ирония судьбы занесла после ранения на эту собачью должность, но в котором обстоятельства не уничтожили человека и человеческую совесть. Про него рассказывали, что он потерял в блокадном Ленинграде всю семью. Он убеждал колхозников тихим, соевственным голосом, и люди несли последнее.

О маме он сказал:

– Побольше бы таких женщин, такая удивительная.

Счетовод по прозвищу Кочучиха хохотала громоподобно:

– Эй, чёрт, в тебя влюбился полковник наш!

Много позже мама как-то призналась мне:

– Он ведь предлагал мне развестись и выйти за него замуж. Это ведь было моё счастье, своими руками я его оттолкнула.

В присутствии полковника даже наш председатель как-то смягчался. Председателем был Терентий Федотович, папин родной дядя. В гражданскую войну он был красным командиром, воевал против Антонова. Никто никогда не видел его улыбающимся. Он ни разу не посмотрел на нас, на детей. Он не выдал нам ни одного зерна, а ведь, небось, видел, чем мы питались. Один хлеб из горчичного жмыха мама Натаня перепекала три раза. Он распозался сырой массой, потому что горстки муки было недостаточно, чтобы тесто схватилось, а больше муки не было.

Всё, что можно было выменять на зерно или муку, мама выменяла. Свой шуршащий крепдешинный плащ она отдала счетоводу Кочучихе за три пуда зерна. Этим зерном мы и спасались в зиму 42–43 года. Во время войны появилось много самодельных мельниц, почитай что в каждом доме были свои мини-жернова. Молоть зерно приходилось чаще всего нам, детям. Это была тяжелая и скучная работа, ныли плечи, зерно перемалывалось плохо. Куда больше мне нравилось пахтать масло. Делалось это простым способом. Сливки сливали в бутылку, бутылку встряхивали, ударяя о колено. Сначала в сливках возникали желтые кружочки, а потом из кружочков образовывалось масло. Было бы совсем хорошо, если бы мы это масло ели. Но нам оно не перепало, всё шло на заготовки, спускали норму на масло, забирали и без всякой нормы, а если ещё что-то оставалось, то это масло обменивали на яйца – у нас было почему-то мало кур, – а яйца шли, опять же, на заготовки.

Питались мы плохо, но все же молоко нам, детям, доставалось. Что бы мы делали без нашей Голубки? Она давала хорошие, устойчивые надои. Мама Натаня приучила нас ещё в довоенные времена пить парное молоко. Оно всегда было разным, в зависимости от того, какую траву щипала сегодня Голубка. Иногда она ела полынь, и тогда молоко было горькое, хинное, и пилось оно с весельем, с мамынатиными прибаутками. Голубка была умная, спокойная корова, но доиться она давалась только маме Натане, маму она за хозяйку не признавала. Она была розовой масти, среди других коров выделялась красотой, и похоже было, что она понимала свою особую статью, потому что выступала всегда с большим достоинством.

В это время появилась вынужденная – горькая и затянувшаяся на многие годы – мода держать по полкоровы. Одной хозяйке было не под силу прокормить корову и уплатить все положенные на неё налоги, вот и оставляли одну корову на два двора. Сколько тут было слез, и горя, и недоеда....

Людские характеры стремительно портились. Обнажалось то, что казалось уже забытым. Мама рассказала такой эпизод. Они работали бригадой в поле. После обеда в самую жару спали в тени дубов. Спали, спали, ну, у мамы с языка и свернулось:

– Бабы, пойдёмте, гляньте, солнышко уже где.

Ну, бабы и поднялись:

– А, нашлась какая ретивая работница! Мы тут хрип сломали, тринадцать лет работаем, а вы уехали, землю побросали, мы её обрабатываем, ничего не получаем, а вы там за мужней спиной сидели, теперь приехали и нас погоняете!

– Кто её побросал-то?! Мы что, добровольно её бросили?! Вы её у нас отняли, вы нас выгнали! На собраниях сидели, голосовали: «Раскулачить их!» Вам мало было земли?! Ну, вот и работайте

теперь, глаза ею засыпьте! По-другому теперь запели!

– Кто голосовал-то?

– Да вы же и голосовали! Забыла, как твой больше всех на собраниях горланил?!

Мама Натаня маму всю исщипала:

– Ты что, война, разве можно такие вещи говорить!

Бабы не прощали маме и соседке тёте Дусе их красивых платьев. Мама и сама была не рада, что остались одни нарядные, выходные платья, одежда попроще была изношена на работе в поле или выменяна на продукты. Да и ехали-то вроде ненадолго, много с собой не брали. Мама купила в Иванове-Вознесенске два прекрасных льняных платья с вышивкой. Эти платья вызывали особую ненависть. Бабы шипели вслед маме и тёте Дусе:

– Ишь, Клещёнка с Дущёнкой опять вырядились, барыни соколонские.

Справедливости ради надо сказать, что к чужим эвакуированным колхозницы относились хорошо, примирались даже с тем, что, например, приехавшая из Москвы Настя Копытцева, по прозвищу Летучка, была назначена кладовщицей на складе картошки. Настя-Летучка была гулёна-баба. Бывало, прибежит к нам со свидания и говорит шёпотом, слышным на другом конце деревни:

– Барыня соколонская спит?

– Спит, – отвечает мама Натаня.

– Ой, тетя Натаня, какой же он честный! Я волнуюсь, а он меня не трогает... – это она об очередном хахале, которых она приманивала не только своими прелестями и доступностью, но и пышками из чистой муки. На пышки клюнул даже наш родственник и сосед, конюх дядя Ефтей Вавилов, человек положительный и степенный. Тетка Аксинья приревновала его при всем честном народе, и раздор между ними надолго затянулся. Бабы, которые остались без мужей, злорадствовали, это был бесплатный деревенский театр.

У тех, кто читает эти строки, может создаться впечатление, что в нашей деревне были одни плохие бабы. Это не так, хотя иногда крутые обстоятельства и хороших делали плохими. Как подумаешь, какая им досталась доля, то и перо останавливается писать о худом. О том, как работали наши женщины, хорошо написано у Абрамова, Белова и других так называемых «деревенщиков». Может быть, где-нибудь в мире и есть ещё женщины, которым приходилось бы столько много работать и так мало спать, но, по моему знанию мира, нет больше места, где бы женщинам-крестьянкам столько доставалось. Это их великим трудом кормились и выиграла войну солдаты, это они вытянули послевоенное лихолетье.

* * *

Война не дошла до нашей области. Правда, Тамбов бомбили, и бомбили много, но на нашу деревню ни одна бомба не была сброшена. Иногда пролетали самолеты, два раза за рощей совершали вынужденную посадку наши самолеты, чем доставили нам, детям, большую радость, в особенности мальчишкам, которые очень долго жили впечатлениями от этих событий.

Поползли слухи о дезертирах. Теперь взрослые запрещали нам ходить поодиночке или вдвоем-втроем в лес по ягоды или за водой к роднику. Говорили, что в Тоненькой прячутся несколько человек. А однажды, в начале лета, вся деревня ринулась на ржаксинскую дорогу.

– Дезертира убили! Ваньку-Шина убили!

Мы, дети крайних домов, прибежали на холм за Соколонским садом первыми. Около человека, лежащего лицом к земле, стояли два милиционера и несколько деревенских мужиков. Руки убитого были широко раскинуты и вцепились в чёрную землю. От затылка шла ржавая струйка запекшейся крови. Вновь прибегавшие становились кругом и переговаривались приглушенными голосами. Ванька Кулагин, по прозвищу Шин, был до войны первым трактористом. В последующие дни стали говорить, что прятался он у себя в подвале, кто-то увидел, донес, из Ржаксы приехали два милиционера, поймали его и повезли на Ржаксу. Официальная версия была, что он пытался бежать в Долгую, а неофициальная – что попытка бегства была просто инсценирована, а приказано было убить его по дороге, чтобы не доводить дело до суда и не привлекать к делу о дезертирстве внимание.

Был и еще один дезертир, Мишка Кузин. Он прятался у Шурки-Жаворонка, его не выслежили, он досидел в подвале до конца войны, сдался сам, получил срок и отсидел его.

Война давала о себе знать и тем, что через ближайšie к нам станции Ржаксу и Чакино все чаще проходили составы с военнопленными. Женщины, приезжая со станции домой, жалостливо плакали, рассказывая о том, какие немцы, румыны и итальянцы худые и страшные, как они протягивают через решетки окон руки и просят: «Мамка, хлеба!» Теперь, когда снаряжалась подвода на станцию, тому, кто ехал, приносили из всех ближайших домов вареную картошку, свеклу, сухари, иногда хлеб, ещё реже – яйца. Рискуя жизнью, потому что охранники грозились, что будут стрелять и даже постреливали в воздух, женщины кидали в окна теплушек свои гостинцы.

Помню, меня тогда поразило, что мама Натаня, мама и другие женщины жалеют пленных. Ведь они только недавно убивали наших солдат, это ведь они мучили Зою Космодемьянскую. Но мама Натаня говорила:

– Да как же их не жалеть? Что же они, по доброй воле в солдаты пошли? Война, надо убивать, они и убивают. Если он не будет убивать, его самого тут же расстреляют. Вот ведь в чем бессмыслица. Да разве же человек для убийства рожден? Конечно, есть такие, что убивать рады, но ведь таких на все армии раз-два и обчелся. А все остальные – народ подневольный.

Много лет спустя я несколько раз встречала немцев, которые были у нас в плену. Все они, все без исключения, вспоминают о времени плена с теплотой. Последний из тех, с кем я разговаривала, был Рудольф Зоннет, второй председатель отделения общества «ФРГ – СССР», депутат рабочей палаты Бремена. Он рассказывал, что был на полусвободном режиме и мог ходить по нашим домам. Женщины делились с ним последним куском. Он сказал, что за всю жизнь не встречал столько хороших людей, сколько за время четырехлетнего плена в России и Казахстане.

Я знаю и таких немцев, которые подкармливали наших пленных и угнанных в Германию. Среди них были люди разного возраста, одни были во время войны детьми, другие взрослыми, но и те, и эти одинаково рисковали, потому что слишком ретивые соседи нацистских убеждений могли донести на них, делящихся хлебом с русскими. Наши пленные удивляли немцев тем, что среди них было много мастеров на разные поделки, игрушки, свистушки. А о наших женщинах вспоминают, что они поражали своим умением работать, не разгибая спины, и своей талантливостью по части всяких хозяйственных дел.

Рассказы о пленных на станциях Ржакса и Чакино повысили наш интерес к дяде Францу, австрияку, пленному ещё с первой мировой войны, которого судьба каким-то образом закинула в нашу деревню. Он женился в свое время на тете Вере, первой на селе красавице. Про неё рассказывали, что у неё необыкновенной красоты и силы голос, и сразу после революции к

ней несколько раз приезжали из Тамбова и уговаривали её ехать учиться, обещали ей, что она будет петь в Большом театре в Москве. Но тетя Вера почему-то не согласилась. Хозяйство у них с дядей Францем было примерное, в хлевах всегда чисто, сад ухожен и огорожен аккуратным забором. Мы иногда просили дядю Франца сыграть нам на губной гармошке, и он выводил на ней то грустные, а то и очень веселые мелодии.

Дядя Франц был членом сельсовета, и это он в самое трудное время предложил создать при сельсовете библиотеку. Он ездил в Тамбов добывать книги и привёз очень хорошие. Этой библиотекой я пользовалась и спустя много лет, когда приезжала к крёстному на лето. В библиотеке была и одна из моих любимых книг – «Обрыв» Гончарова, которую я перечитывала каждое лето.

Дядя Франц предложил поставить маму Натаню спасти колхозных овец, когда они стали гибнуть в продуваемой всеми холодными ветрами овчарне. Мама Натаня только что не ночевала в овчарне и сумела добиться того, что овчарню подлатали, дали ей в помощники двух безответных женщин. Они брали на дом овец, мыли и расчесывали их, что казалось поначалу делом невозможным, настолько свалялась шерсть. И – овцы ожили. Маму Натаню премировали ягненком, который оказался необыкновенно смышленным и принимал самое активное участие в наших детских играх. Мы открывали дверь в горницу, бежали через кухню и горницу и прыгали на скамью, он делал то же самое, потом мы бежали назад и вспрыгивали на скамью в кухне – и он с нами. То-то было весело. А как весело было возиться с котятками или наблюдать, как они играют друг с дружкой или с мамой-кошкой. Но с кошками было не только веселье, а и разыгрывались самые настоящие драмы. Известное дело, кошки – народ плодовитый. И в деревне, где кошки есть в каждом доме и котят некому разбирать, обычным делом считается топить их или закапывать в землю. И вот однажды, когда наша Мурка в очередной раз окотилась, дедушка Федос позвал меня пойти с ним закапывать котят. Как только он предложил мне это, все во мне закаменело. Я поняла, что он это сделал неспроста, что он натаскивает меня на обычные крестьянские дела, поэтому не стала возражать и молча пошла за ним. Около ямки за хлебом я закрыла глаза и заткнула уши пальцами, ничего не слышала и очнулась только тогда, когда дедушка тронул меня за рукав.

– Пошли.

Думаю, что дед понял мое состояние, потому что долгое время спустя он особенно ласково ко мне относился. Но я ему этого не простила, и в будущем эти котята всегда стояли между нами. Вообще-то дед был очень хороший человек, за всю жизнь не сказал вслух ни одного чёрного слова, не сказал худого ни об одном человеке. У него была благообразная борода и седой венчик вокруг головы. В это время он уже не работал в колхозе, мы оставались на его попечении, мама и мама Натаня были спокойны за нас. Дед был одним из немногих в деревне, кто выращивал табак. Обработка табака – дело сложное, но дедушка допускал меня помогать ему на всех этапах его приготовления.

В эти годы мы часто помогали взрослым и не только в домашних, приусадебных делах, но и в колхозе, в поле: сажали картошку, пололи ее, убирали, молотили хлеб, провеивали его, убирали подсолнухи, собирали колоски – одним словом, делали любую посильную работу, а таких в деревне много.

Однажды нас послали чистить свинарник. Он стоял на возвышении, и мы сносили навоз вниз, к кустарникам. Чуть подалее были заросли шиповника. Я очищала свой нос от запаха свинарника, вдыхая аромат цветов шиповника. И вот, нюхая цветок, я подняла глаза и – замерла от необыкновенного сочетания цветов. Свинарник был обмазан желтой глиной, она сияла на солнце и на фоне голубого неба, потом шла по-разному окрашенная масса зелени и, наконец, ослепительно прекрасная зелень шиповника в сочетании с розовыми цветами. И такое соседство – свинарник и шиповник... Я впервые по-настоящему, как-то пронзительно увидела, в какой божественный цвет окрашены эти дикие розы. И впервые мне захотелось остановить

эту красоту. Я принесла домой несколько веток, поставила цветы в банку, а один – отдельно в стакан, и начала рисовать, благо у меня оказался розовый карандаш. Мне казалось, что получилось не очень плохо, и я понесла рисунок бухгалтеру Нине, с которой мы дружили, потому что я иногда помогала ей подсчитывать трудодни. Нина ничего мне не сказала, и взяла чистый лист бумаги, попросила мои карандаши, поставила перед собой шиповник и стала рисовать. Очень скоро я поняла, как плох мой рисунок, а чуточку позже увидела, что и рисунок Нины не передает и малой части той красоты, которую и излучал цветок шиповника. И тут я вспомнила, как выглядели цветы и фрукты на картине, которая висела у нас в Росте над кроватью. Картина так и называлась: «Цветы и фрукты», художник Хруцкий. Я часто и подолгу рассматривала раньше эту репродукцию, но тогда мне не приходило в голову, как много надо уметь, чтобы нарисовать так, что всё выглядело как в жизни, даже капли росы на фруктах и совсем живая муха. По-новому я увидела и портреты двух девушек, что висели у моей подруги Люси в прекрасных овальных рамах. Перед ними я тоже подолгу стояла раньше, пытаюсь понять их тайну, угадать, какими были в жизни эти девушки и почему художник нарисовал их. Умом я, конечно, не понимала, что оба портрета написаны очень хорошим художником, но интуитивно чувствовала это, а через много лет даже осмелилась приписать их Маковскому.

А пока я побежала к Люсе и умолила тетю Симу снять портреты со стены, чтобы я смогла получше рассмотреть их. Я поставила портреты против солнца и увидела то, что на стене было незаметно: тонкие прожилки на виске у одной девушки, живость глаз, переходы одного тона в другой, нежную вязь мелких цветочков на чашке, которую одна из девушек держала в изящной руке. Люся сначала смотрела вместе со мной, потом ей это надоело, и она убежала в сад.

А я всё стояла перед картинами, впитывала их в себя всем своим существом, и постепенно во мне вызревало убеждение: я буду рисовать не хуже, я вырасту и буду, буду, буду рисовать!..

Я забросила чтение и стала пытаться перенести на бумагу всё, что находила красивым: розы, мальвы, ветки деревьев. И конечно, перерисовывала всё, что видела в учебниках и книгах. Получалось сначала плохо, потом всё лучше и лучше, я прикрепляла рисунки кнопками к стене горницы; публика, которая приходила в правление – оно доживало в нашем доме последние дни, – подогревала своими похвалами мои старания. Когда у меня стало получаться не хуже, чем в книжках – по крайней мере, мне казалось, что не хуже, – к тому же, кончились не помню откуда взявшиеся краски, и больше красок не было, – я слегка поостыла и стала снова много читать. Но уже с тех пор и до определенного возраста я рисовала каждый день хоть что-нибудь. Я очень сердилась, когда у меня что-то не получалось. Однажды мне довелось наблюдать редкое по красоте зрелище. Была сильная гроза. Дождь как-то внезапно кончился, и я вышла из дома. Сквозь лохмотья туч проглядывало солнце, в воздухе струились испарения. Когда я зашла за дом и взглянула в сторону рощи, все во мне затрепетало. Над живым зеленым массивом взбегающей на холм рощи стояла темно-серая, почти черная туча, и всё это опоясывала радуга невиданной до сих пор интенсивности. Я стала смотреть то вперед, то назад. Контраст между солнышком и голубыми клочками неба с одной стороны и черной тучей и отмытой рощей – с другой – был воистину сказочный. Всё вокруг вибрировало. Я бросилась в дом и стала рисовать тучу, радугу и рощу. Всё получалось мертвым. После нескольких попыток я разорвала всё, что нарисовала, и долго после не прикасалась к краскам. Когда много лет спустя я увидела в Русском музее волшебника Куинджи, у меня подкосились ноги от сходства некоторых его картин и того, что я тогда увидела. А еще позже узнала, что то, что я безуспешно пыталась перенести на бумагу, называется сфумато и дается далеко не всем даже очень хорошим художникам.

Каждый день мы играли в куклы. Настоящих кукол у нас не было, мы их шили из тряпок и сами разрисовывали. Когда я стала рисовать, лица у меня получались лучше всех, и ко мне стали приходиться девочки со всей деревни, я всем их куклам раскрашивала лица. А еще мы

играли казанками. Казанки – это кости бараньих ног. Они слегка напоминают кукол, и они у нас были детьми. Мы с Люсей обычно располагались с нашими куклами под кустами смородины или на одной очень развесистой и удобной для игр яблоне.

Настоящим праздником для меня было, когда мама Натаня была свободна и открывала один из двух сундуков. В сундуках были сказочные вещи из еще дореволюционных времен: шелковые шали с кистями и без кистей, невиданные шелковисто-шерстяные юбки, газовые шарфы, кисейные покрывала, кружевные косынки. Путешествие в сундуки каждый раз кончалось тем, что мама Натаня давала мне какую-нибудь тряпку для кукол. Я говорила, что никогда не перестану играть в куклы, даже когда буду совсем взрослой. Боже мой! У меня так и не было никогда куклы с закрывающимися глазами! Все детство пришлось на предвоенную бедность, военное горе и недостатки послевоенных лет. Но в сорок третьем году довоенное время не казалось нам бедным. Наоборот. До войны были ириски и мороженое, горчичные булочки и халва, до войны по трудодням выдавали арбузы и мёд, до войны было туалетное мыло и духи. Однажды мы с Люсей решили сделать нашим матерям подарок и изготовить духи. В сарае у дедушки мы разыскали подходящие бутылочки, набили их разными цветами, залили водой и поставили настаиваться. Когда через несколько дней мы понюхали наши бутылочки, вонь была такая, что меня вырвало. Наверное, моё эстетическое чувство было так глубоко оскорблено, что силы равновесия в природе одарили меня тем, что всю мою сознательную жизнь добрые западные волхвы дарят мне французские духи. Их иногда скапливается так много, что, когда у меня бывает плохое настроение, я устраиваю на ночь дегустацию запахов. Большинство хороших французских духов имеет четко выраженную зеленую ноту, и запах березок, весеннего леса возвращает мне утраченное детство, переносит меня в тамбовские леса и поля...

В тамбовском лесу и случилось со мною событие, которое иначе, как сказку, как чудо, как знамение я рассматривать не могу. Произошло это летом сорок третьего года. Я уже говорила, что мы, дети, не заходили в лес дальше родника. Не ходили потому, что дальше лес был темный и страшноватый, не было в нем тропинок, за войну расплодился волк, в лесу, по слухам, прятались дезертиры. Но как-то люсиная мама, Лидия Ивановна, собралась ставить самовар под свежее варенье, и мы пошли с нею за водой к роднику. Лес был тихий и влажный, потому что утром шёл дождь. Около родника Лидия Ивановна предложила оставить ведра в кустах и пойти посмотреть, нет ли поблизости костяники с ежевикой. Наверно, ягоды были, потому что, акая и перекликаясь, мы подразбредлись друг от друга. Неожиданно густой лес кончился, и я оказалась на небольшой поляне. Она была в лёгком тумане и вся пронизана дождевыми прозрачными нитями. Посреди поляны стояла яблоня, и на ней, на уровне моей руки, висело серебряное яблоко, у меня перехватило дыхание, в голове завертелись строчки из сказки о семи богатырях. Я обошла вокруг яблони, заглянула под нее. Яблоко больше не было ни на яблоне, ни под нею. Я протянула руку, сказала про себя: «Господи, благослови!» – и сорвала яблоко. Оно было действительно как серебряное, сродни серебристому туману на поляне, местами прозрачное, так что даже виднелись черные косточки. Всем существом понимая, что яблоко предназначено мне, я надкусила его. Вкус у него был тоже необычный, с привкусом росы. Я быстро съела его, положила огрызок в карман и только тогда откликнулась на аukanье Лидии Ивановны и Люси. Я ничего им не сказала про яблоко. С нетерпением дожидаясь, когда мама Натаня и мама придут с поля, побежала за мамой Натаней в хлев и, волнуясь и заикаясь, рассказала ей всё с подробностями и показала ей огрызок. Мама Натаня выслушала меня со вниманием, сказала: «Ну, дочка, это неспроста» – и посоветовала закопать огрызок в палисаднике. Мы решили ничего не говорить маме из боязни, что она не поверит, что яблоко было единственное и не дичок, какие обычно растут в лесу.

Я плохо спала в эту ночь, а днем побежала в библиотеку и попросила сказки Пушкина. А у дедушки взяла Библию, которую и раньше почитывала, и нашла то место, где рассказывалось о грехопадении Адама и Евы. Несколько дней я пыталась проникнуть в тайну МОЕГО ЯБЛОКА,

ничего не придумала, а потом события реальной жизни, сборы в дорогу, чистка огромного количества картошки для сушки вытеснили из моего сознания волшебную историю с яблоком.

На некоторое время у меня возник интерес к Богу. Он подогревался тем, что в эти дни недалеко от деревни остановился цыганский табор. Цыгане продавали и обменивали на продукты кресты и бисер. Мама Натаня дала мне пол-литра молока, и я обменяла его на медный крест. Но крест на себя я так и не надела, может быть, потому, что он был не очень-то красивый, может быть, оттого, что он неприятно пахнул медью.

На другой стороне улицы, наискосок от нашего дома, жили в полуразрушенном доме брат и сестра Егор Уварович и Марья Уваровна. Они были не исконно лукинские, держались как-то особняком, в колхозе не состояли, так как были уже очень старые. Марья Уваровна зарабатывала себе на жизнь тем, что отпевала покойников.

Их тоже в свое время раскулачили наполовину, и уцелевшая часть дома – а большая часть дома была разрушена во время коллективизации – когда-то была кухней. Сарая у них не было, и всё, что в деревнях хранится в сараях, было сложено у них там же, где они и жили. Оставалось немного места около печки и стола со скамьями. Если все в нашей деревне были бедными, то их бедность была абсолютной. И странным было то, что над чернотой и серостью, над пылью и грязью их дома царственно сияла в тяжелой золочёной раме репродукция с картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Она-то и привлекала меня в их дом. Марья Уваровна рассказывала мне об апостолах, нарисованных на картине, зачитывала отрывки из Евангелия. Но было в ней, в них обоих что-то, что я не могу себе и до сих пор объяснить, что мешало мне поверить в существование их Бога. Куда понятнее был мне Бог мамы Натани. Её Бог был веселый. Она иногда говорила: «Господи, помилуй хвостиком по рылу», и Бог её за это не наказывал, потому что он знал, что мама Натаня хорошая. Она защищала меня каждый раз, когда мама пыталась меня за что-нибудь наказать, например, за то, что я, иногда заигравшись, забывала почистить картошку. Я не очень сердилась на маму, потому что была виновата и ещё потому, что маме приходилось трудно в это время. Дело в том, что в деревне происходила тяжелая борьба с того момента, когда маму весной сорок третьего года назначили на пчельник пчеловодом. Она была хорошим пчеловодом и хорошим помощником Евдокии Ивановой по прозвищу Дроздыха. Но деревенские бабы взбеленились: «А, она там, в Мурманске, барыней сидела и тут наш колхозный мёд ест!» Сельсовет отказался снимать маму, район тоже, кто-то стал донимать начальство письмами и заявлениями, приехало областное начальство, на собрании опять подняли вопрос о пчельнике, и мама написала заявление об уходе.

За все три месяца работы на пчельнике мама всего один раз принесла немного меда в сотах. Это было на пасху. Мёд ели тайком от Стасика, потому что бабы не раз допытывали его: «Что, мать приносит домой мёд?» А кроме того, однажды, рассердившись на маму за что-то, он заявил ей:

– Вот я скажу Терентию Федотычу, как ты с поля колоски приносила.

Бабы ликовали: «Наша взяла!» Эта их «наша», которая сменила маму, каждый день мёд домой таскала, как это, впрочем, делала бы любая на её месте. Будешь таскать, если на трудодни ничего не выдавали.

Летом сорок третьего года стало ясно, что следующую зиму нам без хлеба не прожить. Всё, что можно было выменять на хлеб, было уже выменено. И было ясно также, что войну мы выиграли. И хотя на севере Мурманской области еще были немцы, мама решила вернуться в Мурманск. Отец отказался прислать вызов. Его прислал брат мамы, дядя Саша, который жил в нашей квартире в Росте, потому что в это время отец работал снова в поселке Дровяное, на плавучей базе ремонта судов, или «плавучке», как её называли.

Мы стали собираться в дорогу. Сушили картошку, морковь, лук. Накануне и в день отъезда приходили прощаться с мамой все те, кто хорошо к ней относился и даже те, кто не

хотел видеть её работающей на пчельнике. Бабы плакали, совали кто яйца, кто картошку, а кто и вареную курицу. Машутка Буздалина плакала навзрыд и повторяла:

– Ну вот, была на всю Ульяновку одна хорошая женщина, и та уезжает.

Каким-то подсознательным чувством понимая, что с деревенской жизнью я расстаюсь навсегда, я с особой остротой воспринимала в эти последние дни красоту восходов и закатов, уют крыловского сада, отражения ветел в речке, торжественность Соколонского сада...

* * *

Ехали мы долго. Ленинградская область была всё ещё занята немцами, и поезда на Мурманск шли через Вологду. Вагоны были набиты самым разношерстным людом. Тогда умудрились спать даже на третьих, багажных полках. Нас со Стасиком брали спать офицеры, занимавшие вторые полки. Один из них настаивал на том, чтобы мама ложилась на его место, но она не соглашалась, коротала ночь вместе с ещё одной женщиной на нижней полке, а днём отсыпалась на верхней. На станциях подолгу стояли, бегали за кипятком, приносили вареную картошку, огурцы и грибы.

Мама заметно нервничала всю дорогу, потому что на нас со Стасиком вызова не было, а только на неё.

Пропускной пункт был, на моей памяти, в Кандалакше, на маминой – в Малошуйке. Пришел в вагон офицер с двумя солдатами и стал проверять у всех право въезда в Мурманск. Какая судьба хранила нас, в какой мере помогли мамини глаза, в которых было написано всё, что сказал наш офицер-хранитель проверяющему, но нас не сняли с поезда. А других ссаживали.

Потом уже отец целых два месяца хлопотал, чтобы нас прописали.

В Дровяное мы прибыли на катере поздно вечером, почти ночью. Тогда, в 43 году, Мурманск и близлежащие поселки работали по режиму военного времени, работать по-настоящему начинали примерно с шести вечера, когда немцы переставали бомбить, Рабочие плавушки днем отсыпались или играли в сопках в «очко» или в «буру».

Отец жил теперь в верхнем бараке. Комната была небольшая, но вскоре нам дали самую большую в этом же бараке. Она была напротив комнаты, в которой размещалась матросская библиотека – моё будущее счастье.

За водой надо было спускаться к нижнему барaku, около которого была колонка. Спускаться было легко, но вот подниматься по плохо сколоченным ступеням тяжело, особенно зимой.

Когда наутро после приезда я вышла из барака, у меня зануло сердце от некрасивости серых скал, серой воды, серых домов, бурого мха. И лишь постепенно, после нескольких вылазок за ягодами, после того, как я перестала сравнивать всё, что видела, с красотой родной деревни, а стала просто воспринимать окружающее так, как оно было, я начала ценить неброскую красоту, неяркие краски северной осени.

Школы в Мурманске и Дровянном не работали, и мы с мамой начали собираться в глубь полуострова, в Кандалакшу, куда были отправлены мурманские школы. Мы приехали туда утром, оформили в гороно положенные документы. Нам дали направление в баню-санпропускник и талоны на обед. Накормили нас хорошо и выдали ещё по большому куску белого мягкого хлеба.

После обеда мы пошли устраиваться в интернат. Нас окружили шумные, весёлые ребята. Они расспрашивали о Мурманске, наперебой рассказывали о своей жизни, о том, как они дерутся между собой.

– Тетя, мы подерёмся, но мы и миримся очень быстро, – весело сказала одна особенно бойкая девочка.

Я не поднимала глаз и не проронила ни слова, разговор вела мама. Она сказала воспитательнице:

– Ну, мы ещё походим, а к вечеру придем.

Мы вышли, и мама сказала:

– Дочка, не оставлю я тебя. Они тебя заключут. Или станешь сама такой же хабалкой, неизвестно, что хуже.

И только тут я расплакалась и от пережитого шума и гама, и от ужасов, которые я успела нарисовать в своем воображении, и от благодарности к маме, которая так чутко уловила моё настроение и мои страхи. Первым же поездом мы вернулись в Мурманск.

И начался по-своему счастливый год, свободный от скучных и обязательных занятий, но заполненный чтением, рисованием и – музыкой. Да, той музыкой, которую передавали по радио. В деревне радио не было, а перед войной мои уши были ещё закрыты для звуков. Особенно любила я музыкально-образовательные передачи и концерты-загадки. Иногда, когда я играла на улице, меня звала мама:

– Ната, иди скорей, там опять твои симфонии передают.

Симфониями она называла всё, что не было песнями. Трудно передать словами, что творилось со мной, когда я слышала Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского. Несколько дней и ночей душа моя вибрировала, я плохо спала, и в ушах всё звучали самые памятные места концерта. Тогда, слава Богу, классическую музыку передавали чаще, чем теперь, и практически каждый день приносил новые музыкальные переживания. Когда дома никого не было, я пела вполголоса одновременно с радио какую-нибудь арию или проигрывала на столе фортепьянную пьесу. Я полюбила всякую музыку, в том числе и песни, в первую очередь – народные. Я никогда не понимала и не пойму тех, кто

любит только рок, только бит, только классику, только что-то одно в ущерб другому. У таких людей где-то нарушена внутренняя гармония, и мне их искренне жаль. Я завидую теперешнему детству и отрочеству с их проигрывателями и магнитофонами, с их плёнками и кассетами. А у нас был всего лишь скрипучий патефон с несколькими пластинками. Но, может быть, оттого, что прекрасного было тогда так мало, оно западало в душу и понуждало её трудиться...

Не менее сильно я пережила в ту зиму иллюстрации Врубеля к «Демону». Книгу Лермонтова я взяла не в библиотеке, а у наших соседей по бараку, Мурадянов. Муж и жена Мурадяны работали инженерами на плавучке. У них была небольшая, но очень хорошая библиотека. Это у них я впервые увидела старинные кожаные фолианты с золотым тиснением. Они поразили меня и казались мне живыми существами, ведущими свою непонятную людям жизнь. Мурадяны доверяли мне свои книги, потому что видели, как бережно я их перелистываю. Лермонтова я читала ещё в деревне и многое знала наизусть, но врубелевские иллюстрации открыли мне мир, о котором я и не подозревала. «И – чудо, из померкших глаз слеза тяжелая катится»... «Как пери спящая мила, она в своем гробу лежала»... Разумеется, я принялась копировать каждый рисунок и успокоилась только тогда, когда мои труды похвалили Мурадяны и дали мне для чтения и копирования «Витязя в тигровой шкуре» с прекрасными, но холодноватыми иллюстрациями Табидзе. А Лермонтов, увиденный и почувствованный Врубелем, надолго оттеснил на второе место Пушкина...

Как-то отец сказал мне, что у них на плавучке есть художник, и что он хочет посмотреть мои рисунки. Я отобрала несколько, и отец понес их показывать. Вернулся он с работы очень гордый и сказал, что Костя не верит, что мне десять лет. Отец сказал, что на днях сведет меня к дяде Косте знакомиться.

Дядя Костя оказался весёлым, смуглым и черноволосым молодым человеком. Фамилия его мне не понравилась – Жеребцов. Потребовалось некоторое время, чтобы я к ней привыкла. Дядя

Костя занимал большую каюту. Позднее я узнала, что она была переделана из двух и называется мастерской. Всё тут было невиданно: мольберт с портретом Сталина на нём, рамы, холсты, множество кистей, баночек и тюбиков с красками. Стоял специфический запах.

Дядя Костя стал о чем-то расспрашивать меня, я стеснялась отвечать, но он быстро разговорил меня и предложил мне для начала приходить и смотреть, как он будет работать. А там, мол, видно будет. Он сказал, что сейчас занят оформлением плавучки ко дню Октябрьской революции, поэтому рисует портреты и пишет плакаты. А после праздников будет писать натюрморты. Я было хотела поправить его, что, дескать, «писать» можно письмо или сочинение, а натюрморт рисуют, но удержалась. Потом я привыкла к этому понятию. Но еще позже оно мне опять стало казаться чужеродным, и такое выражение, например, «он пишет её портрет» – кажется мне и теперь нарочитым, и я ничего не могу с этим поделать.

Я боялась помешать дяде Косте, и вначале приходила к нему реже, чем мне этого бы хотелось. Я не надоедала ему расспросами, а стояла или сидела у него за спиной и смотрела, как он делит полотно на клетки, как смешивает краски, как натягивает красное полотно на деревянные рамы. Я поражалась тому, как много в его работе общего с тем, что делал папа Ваня.

Я с нетерпением ждала того дня, когда дядя Костя примется за натюрморты. Перед самым праздником я заболела, недели две в мастерскую не ходила, а когда пришла, то первое, что увидела, открыв дверь, был маленький, по моему росту, мольберт. Я вскрикнула «Ой!» и бросилась дяде Косте на шею. Он радовался вместе со мной. Но к мольберту я встала ещё не скоро. Несколько недель я осваивала основы ремесла, а больше наблюдала за тем, что делает дядя Костя. До войны он оформлял в Москве рестораны и рынки и неплохо этим зарабатывал. Он получал хорошие заказы и в Мурманске, писал натюрморты для ресторана «Арктика», для столовых. Он не был художником – это я поняла позднее – в высоком смысле этого слова, он был художник-ремесленник, но своё ремесло знал хорошо. Я так и не узнала, делала ли он что-нибудь для себя, для души. Наверно, делал, потому что пару раз он упоминал, что до войны выставлялся в Москве. Свои натюрморты он создавал двумя способами. У него был большой ящик с муляжами фруктов и овощей, настоящий сад-огород. Муляжи были великолепно сделаны, но что-то было в них отталкивающее, как в нарумяненных столетних старухах. Дядя Костя компоновал из муляжей, горшков и тканей различные композиции и натаскивал меня на них. Он довольно часто хвалил меня, говорил о врожденном чувстве композиции и о том, что я всё схватываю на лету. Я равнодушно относилась к этим похвалам, мне казалось, что иначе и быть не может. Но дядя Костя хвалил меня и отцу, и тот необыкновенно этим гордился и не упускал случая похвастаться моими способностями перед своими друзьями.

Другой способ дяди Кости был ещё проще: он перерисовывал репродукции, иногда ничего не меняя, иногда добавляя что-нибудь от себя. У него было много открыток с натюрмортами. А ещё было множество открыток с пейзажами. Дядя Костя говорил, что когда кончится война, он пригласит меня в Москву и поведёт в Третьяковскую галерею. Только там я пойму, какие были на Руси художники, только там я почувствую, как дышит живая картина. А пока были репродукции... И редкие книги о художниках, о музеях. Перед тем, как заснуть, я воображала, как хожу по Третьяковской галерее, останавливаюсь перед пейзажами Васильева, Саврасова и разговариваю с ними.

Иногда к дяде Косте заходил дядя Коля, тоже художник. Они затевали профессиональный разговор, в котором я мало что понимала. Дядя Коля обитал в одном из частных домов выше за клубом. Он жил гражданским браком с сестрой моей довоенной подружки Мани Ратахиной. Но я у них не была, потому что Маня еще не вернулась из эвакуации. Время от времени дядя Костя уходил к дяде Коле ХАЛТУРИТЬ. Я долго не понимала, что это означает,

но стеснялась спросить. Выяснилось все, когда приехала Маня. Халтурили они, рисуя ковры на простынях. Это не были знаменитые лебеди и красотики у озера. Они рисовали вполне

пристойные пейзажи. И заказчики у них были приличные, из офицерского каменного дома и из Мурманска. Через пару лет у них появилась могучая конкуренция из ярославских красилей. Те в короткий срок заполнили весь посёлок лебедями, красотками и оленями.

Как-то я пришла в мастерскую и узнала, что у дяди Кости недавно был в гостях американский матрос Джим. Он – художник кино и работает в Голливуде, знаменитой американской фабрике фильмов. Вместе с американцем приходил Виталий Александрович Белянин, главный инженер плавучки, который говорил по-английски. В это время плавучка ремонтировала одно из американских конвойных судов, и поселок уже привык к американцам. Было известно о паре отнюдь не союзнических драк, возникавших на почве ревности к прекрасным дамам, которых в поселке было явно недостаточно.

Через несколько дней я увидела Джима, и он мне сразу понравился. Он был высокий, сухощавый и очень хорошо улыбался. Так как языка для разговоров явно не хватало, его заменили улыбки обеих сторон. Виталий Александрович заходил иногда ненадолго. Он перевел слова Джима о том, что тот телеграфировал своему другу в Америку и попросил его привезти краски, кисти и репродукции. Друг должен был придти в Мурманск с одним из следующих конвоев. Джим постоянно заходил к дяде Косте, и они каким-то образом умудрялись говорить друг с другом. Джим оказался способным к русскому языку, а так как ремонт их судна длился довольно долго, то к концу пребывания в Дровяном Джим сносно объяснялся по-русски. Виталий Александрович принес дяде Косте самоучитель английского языка, состоящий из готовых словесных блоков, словари и словарики, и дядя Костя много внимания уделял языку. Я тоже исписала целый блокнотик английскими словами, и Джим с удовольствием поправлял моё произношение, а я – его. Джим приносил дяде Косте и мне американские журналы. Блестящие яркие страницы не могли не поражать. Но моим любимым журналом стал менее яркий толстый журнал, на обложке которого была фотография очень красивого и очень породистого молодого человека и надпись: Боб Тэйлор. Весь журнал был посвящен Роберту Тэйлору, которого через несколько лет я увидела в фильмах «Мост Ватерлоо» и в «Даме с камелиями».

Месяца через полтора пришел конвой, и Джим принес большую сумку с масляными и акварельными красками, кистями, альбомами и открытками. Тюбики и коробки с красками были тоже яркими, блестящими, краски очень чистыми, пожалуй, чересчур яркими, и дядя Костя долго привыкал к ним. Джим подарил мне большую коробку с акварельными красками и кисточку, которая оказалась просто удивительной, какой-то универсальной, ею можно было делать широкие мазки и тоненькие черточки. Черточки получались после обработки кисточки губами. Краски были сладкими, медовыми, как и те, что мне дарил дядя Костя.

Америка на глянцевах открытках-гармошках поразила меня. Флорида, Майями, Сан-Франциско, Нью-Йорк, буйство красок неба и моря, цветов и архитектуры – всё это было так непохоже на окружающую нас действительность.

Внимание взрослых на несколько дней заняли другие открытки и репродукции в альбомах, посвященных американским и европейским художникам. Это были беспорядочные пятна, то напоминавшие палитру, то как будто бы нарисованные детской рукой неопределенные предметы. Я спросила:

– Это взрослые рисовали?

Джим рассмеялся:

– Да, взрослые, которые навсегда хотели бы оставаться детьми.

Дядя Костя разъяснил мне, что так некоторые художники рисуют после 1911 года, что такие картины впервые выставил русский художник Василий Кандинский, что такая живопись называется абстрактной. Кандинский мне не понравился, а вот Хуан Миро и Пауль Клее – очень. Я сказала дяде Косте, что в них есть что-то смешное, и он восхитился:

– Слышишь, Джим, ребенок, а как верно она схватила суть того и другого! Умница ты моя!

Накануне отплытия Джима в Америку ему устроили пышные проводы. Дядя Костя достал где-то красную икру, наловил рыбы, дядя Коля принес грибов, я – моченой брусники, Джим – яичный порошок и ананасовый компот. Виталий Александрович переводил по мере надобности, взрослые спешили высказаться, перебивая друг друга. Все плакали, когда настала минута прощанья.

Долго ещё потом вспоминали Джима. Бывали позднее у дяди Кости и другие американцы, но такой дружбы больше ни с кем не возникало.

К этому же времени относится собирание киноленточек. Мы их добывали простейшим способом. Уборщица выбрасывала мусор из матросского клуба и кинобудки, в этом мусоре мы и отыскивали киноленточки. Обменивались друг с другом. Особенно ценились крупные планы, их мы хранили в отдельных коробочках. Прекрасная жизнь началась тогда, когда киномехаником стал Егор, Жора, брат моей подружки Зои. Он вырезал нам крупные планы, и мы с Зоей были счастливы. Один из киномехаников, разбитной парень Алёша, матрос, был из Москвы. Он с детства знал английский язык. Получастно, полуофициально он установил контакт с американской миссией в Мурманске и привозил оттуда фильмы. Это были первые цветные фильмы в жизни любого из нас, и они взбудоражили весь поселок. Мы смотрели их по несколько раз. «Ночь над Майями», «Кровь на песке», «Аргентина», диснеевские фильмы, Кларк Гейбл, Эрролл Флин, Тайрон Пауэр, Рита Хэйуорт, то же буйство красок, что и на открытках, но гораздо более жизнеподобное, потому что все это было помножено на магию кино. Я забредила Америкой. «Когда вырасту, уеду в Америку», – твердила я. Отец проводил со мной душевительные беседы:

– Ты что же, думаешь, что они все так живут, как в «Ночи над Майями»? Это же курорт миллионеров. Небось, фильмы о безработных они не делают.

Но я не сдавалась:

– Все равно уеду.

Некоторое время спустя Алёшу постигла кара. Как говорили у нас в посёлке, с Алёши содрали лычки и медали. Считалось, что он еще легко отделался, могли и посадить.

В эти годы у нас в жизни было много американского. Карточки отоваривали чаще всего американскими продуктами: соей, кукурузной крупой, шоколадом, яичным порошком, сухим молоком, тушёной колбасой в банках. Существовал на плавучке какой-то распределитель ленд-лизовой одежды. Отец получил из этого распределителя два прекрасных пальто: одно кожаное, другое из верблюжьей шерсти, а я несколько лет носила твидовое серое пальто и туфли на деревянной подошве. А ближе к окончанию войны поселок буквально заполнился американской одеждой и продуктами. У нас в поселке была база ЭПРОНа. Эпроновцы работали по поднятию полузатопленного американского транспортного судна и тащили с него всё, что можно было украсть. Наворованные эпроновцы меняли на водку. Водку мы, жители поселка, получали в обмен на сданные ягоды. Основная масса одежды и продуктов оседала в нижнем бараке и домах на берегу залива. До нас, до верхнего барака и до верхних домов, доходили только остатки. Но и этого было достаточно, и мы все, взрослые и дети, несколько лет щеголяли в невиданно красивых платьях, пальто и туфлях. Эти вещи прислали из Америки не по ленд-лизу. Это были жертвоприношения населения Америки, собранные Красным Крестом.

Я тогда думала так: если такие прекрасные вещи являются нормой для американцев, то как же хорошо они должны жить. Значит, в фильмах не такая уж неправда, как в этом меня пытался уверить отец.

Однажды из нижнего барака прибежала запыхавшаяся подружка:

– Проси у матери водку, там принесли балетное платье, недорого отдадут, за маленькую, всё равно никто не берет.

Мы побежали вниз. На кровати лежала воздушная белоснежная масса неопишущей красоты, будто сошедшая с фотографий Анны Павловой.

– За сколько отдадите? – спросила я, боясь услышать в ответ «пол-литра».

– Я сказал, за маленькую, мое слово – олово, – ответил мордастый эпроновец.

– Я вас умоляю, никому не отдавайте, я выпрошу у мамы маленькую, я сейчас вернусь.

Я кинулась назад. К счастью, мама была дома. Я со слезами на глазах стала упрашивать ее. Мама не очень понимала, о каком платье идет речь, но четвертинку мне дала. Разумеется, платье оказалось мне велико. Мама ушила его в боках, и несколько вечеров подряд я становилась на цыпочки и танцевала не столько ногами, сколько руками перед благодарной публикой из нашего и нижнего барака. Тетя Надя сказала, что платье называется пачкой.

Комната у нас была просторная, и я ещё не раз что-нибудь показывала, благо зрители просили об этом.

Как-то у нас выступала концертная бригада из Москвы. Я была два раза на концерте, потом его передали по радио. Этого хватило, чтобы я выучила наизусть весь концерт, все мужские и женские номера, от «Бескозырки» до концеранса. Конферансье выступали вдвоем, у них был, в числе прочего, такой вот текст песенки:

Всё всегда мы с ним делили пополам,
Ели хлеб, табак курили пополам.
До сих пор мы не забыли,
Что когда моложе были
Даже девушек любили пополам.

И еще:

И в одном хорошем деле
Десять суток нам пригрели.
На «губе» мы отсидели пополам.

Что бы еще я ни исполняла, больше всего мне почему-то хлопали за эту песенку...

Осенью сорок четвертого года в Дровяном открыли начальную школу. К этому времени съехалось довольно много детей. Мурманск бомбили уже сравнительно редко, а в октябре началось наступление наших войск на Петсамо и Киркенес. Мимо Дровяного вилось по сопкам шоссе, и через нас проходили основные силы армии. Мы бегали смотреть на маршала Мерецкова. Он остановился на квартире у офицера Лизунова, которого дружно ненавидело все население Дровяного. Лизунов отправлял матросов на гауптвахту за малейшую провинность, и поговаривали, что расправа над кинемехаником Алёшей – тоже его рук дело. Лизунов и его жена по прозвищу Лизуниха и до этого-то редко кого удостаивали взглядом, а тут уж они и вовсе загордились – как же, предварительно посланные адъютанты из всех квартир офицерского каменного дома выбрали именно их.

В армии было много девушек, особенно санитарок и зенитчиц. Их почему-то звали эрзацицами. Они размещались на ночлег по всему поселку. Мест иногда не хватало, и тогда они спали даже в коридорах барака. Наши матери жалели их и устраивали, как могли, их мытье. А девушки жалели нас, детей, и угощали нас сахаром и сухарями.

Девушки-зенитчицы сманили мясом нашего кота Ваську. Мы сами этого не видели, а соседи видели, как кот увязался за ними.

Когда после разгрома немцев войска двинулись назад, была уже зима. Мы бегали к шоссе и наблюдали, как двигались танки, зенитки, полевые кухни, как шли замученные и почерневшие солдаты. Снова в наших бараках ночевали девушки-солдатки. А в рации у нас появились немецкие галеты, немецкий хлеб, лук и сало, которое называлось странным именем «лярд». Мама жарила лук в лярде, они с отцом макали в это жареное хлеб и ели, и пытались уговорить

нас со Стасиком, но мы не любили лук еще с довоенных времен и, даже полуголодные, отказывались от него. Чаще всего мы со Стасиком мечтали о хлебе: «Я съела бы буханку»... – «А я бы две буханки»... Мы не понимали, почему мама сердилась, когда слышала это от нас. Поэтому мы при ней не мечтали. Она некоторое время по приезде работала официанткой при штабе, в офицерской столовой. Мама приносила нам кое-какую еду и этим здорово нас поддерживала. Только спустя годы и годы она объяснила нам, почему сама никогда не ела то, что приносила. Она видела, КАК это готовилось. У них был феноменально нечистоплотный повар, и мама брезговала. Она рассказывала позднее, что среди офицеров были разные люди, точнее сказать, были люди, а были и нелюди. Особенно двое изводили официанток мелкими придирками – не с той стороны суп подала, не так ложку положила.

– Не так ложку положила!... Сам, небось, дома лаптем щи хлебал, – мама сердилась и много лет спустя, – думаю, знал бы ты, что ешь. Наш повар ни разу после уборной руки не вымыл. Подбросит в плиту уголь и этими же руками винегрет мешает. Тьфу! До сих пор тошно!

Поэтому мать хоть и огорчалась за нас, но не слишком, когда ей пришлось уйти по «собственному желанию». В это время стали съезжаться к офицерам жены, и им понадобились места работы. Мама устроилась тут же, при штабе, телефонисткой, по своей довоенной специальности. Стало голодно, особенно не доставало хлеба. Но это продолжалось не очень долго. Пищевое подкрепление пришло неожиданно, с отцовской стороны. Он был человек молодой, энергичный, и его уговорили стать по совместительству, на общественных началах, начальником подсобного хозяйства. Собственно, хозяйства еще не было, его надо было создавать. И отец горячо взялся за дело. Он раздобыл где-то два деревянных бота, подремонтировал их, подобрал команды, и дела в столовой на плавучке повеселели, рыбы стало вдоволь. Отец завел несколько лодок на озерах, были у него в хозяйстве и охотники. Существовал проект: создать в Сортавале молочную ферму, давали даже земельный участок. Но по здравому размышлению от этого проекта отказались, так как ко всему этому нужно было иметь свои паровоз и вагон, а это уже было из области утопии.

У нас в доме стали бывать охотники и рыбаки. Они жили по несколько дней, и это были очень интересные дни, потому что все рыбаки и охотники были удивительными рассказчиками. В доме не умолкал смех, жарилась и парилась дичь, а стены комнаты украшались тетеревиными хвостами и крыльями.

В поисках каких-нибудь сетей или необычного рецепта засолки сельди отец мотался по побережью, привозил специального посла селедку и вяленую рыбу. Рыбаки варили из тресковой печени очень вкусную граксу. Была даже целая семужья эпоха. Сапёры разминировали дорогу к системе рек и озер, по которой шла на нерест сёмга. Во время войны никто её не ловил, и она шла тучей, ставили весло в воду, и оно не падало, держалось в рыбе. Начальство плавучки ездило на рыбалку. Рыбалка – это неверное слово для обозначения того, как добывалась сёмга. А добывалась она самым варварским способом – динамитными шашками. Бросали в воду шашку, она взрывалась, малую часть сёмги вылавливали, а остальная тонула и всплывала, кажется, через девять дней, прибывалась к берегам, издавая невыносимое зловоние. Мужики оправдывали себя тем, что все равно сотни тонн уплывают понапрасну, что они убивают крохотную часть от огромных масс рыбы, ну, и тому подобное.

Таких больших серебристо-розовых рыб я позднее не видела и не увижу. Мы варили тончайшего аромата уху, жарили сёмгу живописными кусками и ели свежепросоленную, зернышко к зернышку икру, ели действительно ложками. Мне не приходило в голову делать натюрморт с разрезанными кусками сёмги, но дядя Костя надоумил меня, рассказал, что был такой фламандский художник Снайдере, который писал сёмгу. Я взяла у отца сеть прекрасного серого цвета, а у Мурадянов попросила гжельскую тарелку с синей росписью, отрезала от крупной сёмги пару кусков, положила одну целую красавицу поэффектней и написала всё это, как могла. Получилось плохо, и я злилась. Показала дяде Косте. Он пришёл в совершеннейший

восторг от композиции и цветового замысла и утешил меня тем, что когда я кончу академию, сёмга будет у меня на картинах серебриться и истекать розовым жиром.

Вкусовое и эстетическое впечатление от тогдашнего пира осталось настолько сильным, что я всегда, когда мне доводится есть то, что в ресторанах именуется сёмгой и икрой, испытываю легкое чувство брезгливости.

* * *

В школе я дружила с двумя девочками из моего класса – с Маней Ратахиной и Нолей Беляниной. Ноля не была родной дочерью Виталия Александровича, он был её отчимом. Я любила бывать у них в доме, в котором мы жили до войны, в этом же подъезде. У Виталия Александровича было несколько альбомов по искусству. Домой он мне их не давал, но в их квартире я могла просиживать за ними, сколько мне хотелось.

Стала я бывать и у Мани Ратахиной, где незаконным зятем жил дядя Коля-художник, которому под мастерскую выделили самую большую комнату. Альбомов у него было немного, но зато очень много открыток.

Маня тоже рисовала, и между нами довольно скоро возникло что-то вроде соперничества. Пока мы рисовали для себя, соперничества не было. Но вскоре мы стали получать заказы на рисунки. Сначала мы раздаривали их, но потом нам надоело рисовать по заказам, и мы стали отказываться. Но тут кому-то из заказчиков пришла в голову мысль платить нам за рисунки. В зависимости от сложности нарисованного мы продавали их по пять и десять рублей.

Так мы стали «халтурщиками» и конкурентами. Но, в отличие от дяди Кости и дяди Коли, я к халтуре относилась с почтением и рисовала по заказам ещё старательней, чем просто так. Не могу сказать того же о Мане. Я довольно скоро обнаружила причину её плодовитости. Оказывается, она брала свой собственный рисунок или какую-нибудь репродукцию в журнале, прикладывала это к оконному стеклу, накладывала сверху чистый лист бумаги, переводила на него рисунок, а потом все это раскрашивала.

Я не подала вида, что подсмотрела случайно метод её производства, но в душе презирала её, тем более, что на деньги, которые мы зарабатывали и отдавали матерям, всё равно ничего нельзя было купить, в магазине нашего поселка ничего не было, кроме продуктов по карточкам. Про себя я гордилась, тем, что наша учительница Галина Леонтьевна ни разу не попросила Маню подарить ей что-нибудь, у неё в комнате висели только мои рисунки.

Я замечала, что Галина Леонтьевна как-то по-особому относится ко мне. Ещё заметнее это стало после того, как я написала два домашних сочинения на свободную тему. Оба сочинения я посвятила нашему коту Ваське. У нас в семье все коты были Васьки, этот назывался Васька четвертый. Его мы завели после Васьки третьего, уведённого зенитчицами. Как-то отец паял кастрюлю и оставил паяльную кислоту в блюдечке. Васька потерял свойственную кошкам осторожность и лакнул кислоту. Боже, как он мучился! Он выл, катался по полу и плакал человеческими слезами. Отец добыл у американцев молоко, но Васька к нему не притронулся. Потом он забрался на небольшой выступ у плиты и три дня не слезал с него. В глазах у него стояли слёзы, а мы разговаривали шёпотом, как будто это могло ему помочь. На четвёртый день Васька спрыгнул с печки и стал лакать молоко. Отец рассказывал, что американцы радовались вместе с нами.

А вскоре после этого произошла ещё такая история. Мама ушла к соседке и поручила мне присматривать за плитой, на которой закипал бульон, а рядом с кастрюлей жарился на сковородке лук. Я сидела у плиты и читала. Вдруг раздался какой-то свистящий звук, над плитой вспыхнуло адское пламя, поднялись клубы пара. Я закричала диким голосом и вылетела из комнаты с воплем «Мама!» Сбежалось полбарака. Оказывается, сковородка стояла впритык к кастрюле, бульон бурно закипел, пролился на сковородку и на плиту, перелился через края

сковородки, жир вылился на горячую плиту, вспыхнуло пламя, образовалось большое количество пара, вот и получилось нечто вроде взрыва.

Через какое-то время мы хватились, что Васьки нет. А он никогда не ходил на улицу, дышал воздухом через форточку. Ясно было, что он испугался взрыва и удрал через открытую дверь или через форточку. Мы облазили все углы, прошли по всем комнатам барака, звали Ваську на улице. Васьки не было. Мы с братом ревели. Васька был очень умный и доставлял нам много радости.

Через несколько часов мама стала собираться на вечернюю работу. Она сидела за столом, ела и думала о Ваське. Вдруг она увидела, что подушка на кровати зашевелилась.

– Васька! Васька! – позвала она.

Подушка перестала шевелиться. Мама подошла к кровати и вытащила дрожащего Ваську. Оказывается, он забрался между подушками и пролежал там все это время.

Обе эти истории я и расписала в сочинениях с подробностями и живыми деталями, о которых сейчас позабыла. Галина Леонтьевна зачитала оба сочинения в классе, хвалила меня, а после уроков велела мне остаться. Она спросила меня, что я читаю и кем хочу быть. До этого я говорила всем взрослым, что буду художником или артисткой. А тут вдруг неожиданно сказала, что хочу быть писателем.

– И давно ты хочешь быть писателем?

– Да, давно, ещё в деревне.

– А почему?

– Ну, как Алёша Пешков... У Горького...

– А-а-а... А ты знаешь, что Алёша Пешков два раза исходил Русь пешком?

– Да, знаю. Может, я тоже исхожу.

– Ну, женщинам это труднее сделать, да и времена теперь другие. Хочешь, я составлю тебе список книг, чтобы ты читала не так бессистемно?

– Хочу.

Галина Леонтьевна принесла мне через пару дней список, рассчитанный на несколько лет вперед, и какое-то время я придерживалась, по возможности, этого списка. За три года, что мы прожили в Дровяном, я прочла всё, что можно было прочесть в матросской библиотеке, и всё, что можно было добыть у соседей и знакомых. Библиотекарша довольно скоро перестала записывать в формуляр то, что я брала, она пускала меня за стойку, и я выбирала всё, что мне понравилось.

На плавучке ремонтировались морские охотники, подводные лодки, миноносцы, эсминцы «Гремящий», «Урицкий». В библиотеку заходили живые герои, о которых писали газеты и говорили по радио. Я исподтишка следила за ними, смотрела в формулярах, какие книги они брали читать. И то, что они были обыкновенные живые люди, делало более достоверными таких удаленных во времени героев книг, какие вставляли со страниц морских рассказов Станюковича и Новикова-Прибоя.

Зимой 45-го года в нашу школу дали один билет на встречу с Николаем Крючковым в мурманском Доме Офицеров. Билет выделили мне как лучшей ученице. За ним надо было перед концертом зайти в гороно. Мама отпускала меня одну с большими предосторожностями, с ахами и вздохами. Я поехала на катере пораньше, разыскала гороно, а там мне велели обратиться к Маргарите Александровне Линдстрем. Я зашла к ней в кабинет, и к тому чувству робости, которое я испытывала уже на подходе к гороно, прибавился еще трепет, природу которого я осознала несколько позднее. За столом сидела светлоглазая женщина с круто изогнутыми бровями и усталым лицом. Она предложила мне сесть, расспросила, откуда я, как меня зовут, когда мы вернулись из эвакуации. Когда я уже уходила, она спросила, взяла ли я что-нибудь поесть. У меня с собой ничего не было. Тогда она поговорила с кем-то по телефону и направила меня в какую-то столовую неподалеку.

А потом была встреча с артистом кино Николаем Крючковым и с другими участниками концертной бригады, которые, в общем-то, были откровенными халтурщиками, но это понимание пришло потом, а тогда все эти остроты и танцы с огромными веерами из страусовых перьев казались прекрасными. Сидя в катере на обратном пути и переживая события дня, я поняла, почему лицо Маргариты Александровны вызвало во мне такое волнение. Она была похожа на маму, особенно глаза, брови, скулы и нос. Губы у Маргариты Александровны были тонкие, а у мамы довольно полные, но обе они были похожи на Грету Гарбо, похожи тем сходством, которое называется неуловимым. Грету Гарбо я знала по маленьким открыткам, подаренным американцами. Виталий Александрович рассказывал какие-то чудные истории о том, что эти открытки американцы вкладывают в пачки с сигаретами, кто наберет много, тот получает какие-то премии, вроде путешествий в другие страны или на курорты. На открытках были голливудские артистки Пола Негри, Джин Хэрлоу, прическами и туалетами поражающие воображение.

По приезде домой я рассказала обо всем и тут же изобразила всё, что запомнила из концерта, благо и веер нашелся: это был тетеревиный хвост со стенки над моей кроватью.

В ту зиму весь поселок охватили два поветрия: все стали заводить альбомы-тетрадки, в которые переписывали невесть откуда взявшиеся стихотворения, песни, закладывали уголки, писали на этих уголках какие-то многозначительные обещания постичь правду на странице такой-то и т. д. Я тоже завела альбом и на зависть всем разукрасила его своими рисунками. Правда, тексты стихов безымянных авторов вызывали во мне кое-какие сомнения, но я гнала их прочь. В нашем бараке жила Тася Смирнова. Не помню, кем она работала, помню только, что была она итээровка¹ на плавучке, а родители ее жили в Ленинграде. У нее была маленькая хорошая библиотека, и я у неё перечитала все. Тася попросила меня показать ей мой альбом. Она ничего не говорила, когда перелистывала его. А потом достала маленький альбом с плотной желтоватой бумагой. На первой странице был повторен кем-то рисунок, изображающий мальчика Пушкина, а дальше шли его стихи, Лермонтова, Тютчева, Есенина, было много хороших карандашных рисунков. Почти все стихи я знала. Но дальше, на нескольких страницах, были стихи некоего Генриха Гейне. Мне почему-то сразу врезались в память строки:

Если ты имеешь много,
То тебе еще дадут.
Если ж мало, то и это
Даже малое возьмут.

Тут же, молча, я разорвала в клочья свой альбом. Тася засмеялась:

– Того он и стоит.

Другое поветрие переживали взрослые. Токари с плавучки наладили производство рюмок: не то из снарядных гильз, не то из головок снарядов. Они обрезали их, приделывали к ним ножки и никелировали все это. Рюмки получились очень красивой формы. Но любители изящной словесности с плавучки украшали эти рюмки текстами сродни тем, что были в разорванном мною альбоме. Среди тех рюмок, которые заказал мой отец, самый лучший стих гласил: «Когда же этому конец, и с кем я стану под венец».

Из этих рюмок мы и начали пить – кто водку, а кто клюквенный морс – 8-го мая 1945 года. О подписании капитуляции Германии нам сказали американцы. А на другой день состоялся митинг перед плавучкой, у подножия штаба. Погода для праздника была самая неподходящая: шел мокрый снег. Несколько дней пили, пели, смеялись, плакали.

¹ ИТР – инженерно-технический работник.

Летом и осенью стали возвращаться демобилизованные. Они привозили самые разные трофеи. Чем только не торговали в это время! Отец одной девочки из нашего класса привёз чемодан исписанных открыток. Их хорошо покупали. Прилизанная, чистенькая, в клумбочках Германия была на этих открытках.

Демобилизовался и дядя Костя, он ведь был матросом. Отец устроил ему отвальную. Дядя Костя оставил свой адрес. Я безутешно рыдала в день отъезда, провожая его на пристани. Дядя Коля тоже пускал слезу.

Дядя Коля вскоре бросил Ньюру, сестру Мани Ратахиной. Она очень переживала, даже хотела повеситься. Она готова была рассказать о своём горе каждому, кто внимательно слушал её. Вот и мне она, несмотря на разницу в возрасте, всё подробно рассказала. Когда она говорила о том дне, в который дядя Коля уходил от неё, она вдруг сказала: «Почему-то шёл дождь».

Меня так поразила эта фраза и мне было так жаль Ньюру, что, придя домой и посидев немного над чистым листом бумаги, я вдруг сложила стихотворение, первое в своей жизни:

Почему-то шёл дождь...
Наша встреча была чудом,
Тем, которое вечно ждешь,
И во всей огромной Вселенной
Шёл счастливый весенний дождь.

Я боялась спугнуть своё счастье,
Я ждала, когда ты заснешь,
И мою колыбельную песню
За окошком пел дождь.

Пролетели весна и лето,
Не нагонишь их, не вернешь,
И в то лето, как музыка счастья
Часто солнечный шёл дождь.

А потом наступила осень.
Ты не шёл, я к тебе пришла.
Ты ещё не сказал ни слова,
А моя душа умерла.

Ты сказал, что меня не любишь
И что больше ко мне не придешь,
А со светлого-светлого неба
Почему-то шёл дождь.
А со светлого-светлого неба
ПОЧЕМУ-ТО шёл дождь...

Я понимала, что написала не бог весть что. Но меня поразило, что это всё-таки стихотворение, и что оно получилось как бы само по себе, когда возникла в этом необходимость. А что дождь вышел такой разный, так это было просто хорошо. Утешившись этим, я решила отдать стихи на суд публики и на другой день, переписав их набело, понесла Ньюре. Ньюре стихи понравились, и она плакала над ними.

А через несколько дней отец пришел с работы и прямо с порога очень сердито спросил:
– Это ты стишки любовные пишешь?

– Какие стишки?

– Какие стишки!? Это я тебя спрашиваю! Нюрке стихи ты написала?

– Я...

– Не рано ли в двенадцать лет о любви думать?! Вся плавучка говорит: «Витькина дочка стихи про любовь пишет, а Бернес их под гитару поет».

– Как, по радио?

– Ну да, по радио... Наш Бернес, Стёпка Антипкин.

На плавучке был дядя Стёпа, который пел не хуже Бернеса, поэтому его никто и не называл Степаном, а «наш Бернес».

Отец продолжал бушевать, а я плакала не столько оттого, что он так оскорбительно вывернул все наизнанку, сколько оттого, что до сих пор он так деликатно относился к тому, что я рисовала и что копировала подряд всех артистов. Пришла с работы мама, попросила дать почитать злополучное стихотворение. К концу чтения у неё полились слезы. Она отправила меня погулять. Когда я через какое-то время вернулась, отец не глядел мне в глаза, при маме он никогда больше о стихотворении не говорил, но в её отсутствие нет-нет да поминал, что я пишу любовные стишки. Через много лет мама рассказала мне, что она ему тогда наговорила:

– Дурак ты, дурак, хоть и отрастил рыжие усы. Лаптем ты тамбовским был, лаптем и останешься! Ты единой строчки без ошибки не напишешь, а её учить вздумал! Другой бы отец радовался, что у ребенка то к тому, то к другому талант есть! Тебе, небось, в голову не пришло, что все стихи от любви рождаются! Почитай Некрасова, ты его и в руках не держал, поди. У него все стихи через любовь к народу, к человеку написаны. Если по-твоему рассуждать, так надо, в первую очередь, рисование запретить, у них там сплошь все голые. А ты, небось, радуешься, что она рисует. Как же тебе лестно, что все говорят, дочка Вавилова рисует. Лапотник ты поплёвский!..

* * *

Жизнь постепенно налаживалась после войны. В Мурманске открыли коммерческий магазин, где торговали хлебом, пирожными и пирожками. Открыли ювелирный и книжный магазины.

Отец как-то поспорил со мной на стоимость одного пирожного. Он сказал, что нельзя говорить: «Нам в школе объясняли новый материал». Разумеется, он поспорил, о чем ему и написала в записке Галина Леонтьевна. В ближайшее воскресенье мы, несколько подружек, отправились в Мурманск. Мы бегали от отдела к отделу, не зная, на что решиться: купить два пирожка или одно пирожное. Когда мы все-таки склонились к пирожному, обнаружилось, что кошелек у меня в кармане нет. Украли! Я огляделась вокруг и сразу поняла, кто вор. Это был здоровенный, краснорожий мужик. Я его еще раньше заметила у отдела с пирожными, он тёрся около нас. Он явно высматривал очередную жертву. Около его ног лежал мой кошелек. Красненькой тридцатки в нем не было. Я не плакала. Меня так поразило несоответствие – здоровенный мужик и маленькая девочка, что я просто закаменела. Тогда вообще было много воров, и часто рассказывали всякие жуткие истории о «чёрных кошках» и о том, как людей проигрывали в карты.

Чтобы утешить меня, мама дала мне денег из тех, что я заработала продажей рисунков. В следующее воскресенье я снова отправилась в Мурманск. На этот раз я была очень осторожной с деньгами. Я купила всем по пирожному. Своё я съела в Мурманске, а остальные привезла в специально взятой на такой случай коробочке. Мама и папа свои пирожные отдали нам, детям, мы еле уговорили их попробовать хотя бы немножко. Это были первые пирожные за пять лет, а Рая, мамина племянница, которая приехала из деревни и жила у нас, вообще съела первое пирожное в своей жизни. Мы все вспомнили то счастливое довоенное время, когда папа и мама

приносили нам сухие пирожные из театра. Мы просыпались и знали, что пирожные лежат у подушки, завернутые в целлофановую бумагу.

У нас в классе, да и в других классах, было много переростков, во время войны кто два, кто три года не ходил в школу. Поэтому не удивительно, что некоторые девочки уже начали чувствовать себя девушками. Пришло еще одно поветрие: все стали прокалывать себе уши. Я тоже проколола, процедура была проделана гигиенично, уши у меня не болели. Я съездила в Мурманск и купила прелестные сережки в виде крохотной звездочки с голубым камешком посередине. Но когда уже можно было надевать сережки, я отказалась их даже примерить, потому что вдруг усмотрела какую-то связь между сережками и теми стихами в альбоме.

На плавучке по субботам и по воскресеньям летом устраивались танцы под радиолу. Девушки надевали красивые американские платья и стекались со всех сторон поселков Дровяного и Третьего Ручья к плавучке. Их уже поджидали матросы, подтянутые, с начищенными пряжками ремней. Нас, малявок, на танцы не пускали. Недопущенные открывали филиал танцев около нижнего барака, благо музыка была слышна во всем поселке. Я не танцевала, но с гордостью смотрела на «свои» платья. Дело в том, что из Германии демобилизованные привозили красивые ткани. Оказалось, что я могу придумывать фасоны, и я рисовала всем, кто меня об этом просил. Причем делала это сознательно, учитывая особенности фигуры. У нас в бараке жила очень хорошая по тем временам портниха, она иногда советовалась со мной.

Летом сорок шестого года родители отправили нас с двоюродной сестрой Раей в Чакино, к тете Мане, раинной матери. Отец решил послать с нами каустическую соду или, как ее все называли, каусник. Им мыли деревянные части палубы на военно-морских судах. А почти по всей стране он был на вес золота, потому что без каусника нельзя сварить мыло, а тогда все сами варили мыло. Отцу сделали на плавучке две здоровенные банки и два ящика, он вложил эти банки в ящики и отправил каусник багажом. Накануне отъезда он наказал нам, особенно Рае, которой было уже девятнадцать лет:

– Смотрите, девки, не вздумайте нажиться на людской нужде. Продайте только, чтобы оправдать дорогу. А остальное раздайте всей родне в Чакино и Лукино.

Он не зря предостерегал нас от соблазна. В Москве, недалеко от Казанского вокзала, был комиссионный магазин. И там я высмотрела прелестный кошелёк, вышитый бисером. Работа была такая тонкая, что трудно было на небольшом расстоянии разглядеть, что это бисер, а не рисунок. Я решила, что уже на этот кошелёк я попрошу Раю продать лишнюю порцию каусника.

Кто не помнит лето 46-го года, когда по всей стране неделями и месяцами пекло безжалостное солнце и не было ни капли дождя? Мы купались в трусах, и пока доходили до дома, а это было близко, трусы уже высыхали.

Как-то, когда мы с сестрами и подружками только что вернулись с купания, на пороге дома появился милиционер. Он цепко оглядел всех и спросил:

– А где Раиса Семеновна?

Тетя Маня, нутром учуяв неладное, сказала:

– А она уехала в Мурманск.

– Так быстро? А это что?

Милиционер шагнул к комоду и взял в руки паспорт, лежавший на комоду среди других бумаг.

– Так... Раиса Семеновна Нестерова... Она что же, в Мурманск без паспорта уехала? И багаж не успела получить?

Тетя Маня спросила:

– А в чём дело-то?

– А вот пусть она за багажом придет, там и узнает, в чем дело. Где она?

– Не знаю. Нюра, девки, сбегайте, поищите Раю.

Раю разыскали на речке, она была там со своими подружками. Милиционер повел её с собой на станцию, там её и арестовали. Как выяснилось позднее, в Чакино было послано анонимное письмо. Тот, кто писал письмо, полагал, что в багаже идет солёная рыба. За каусник вроде не должны были арестовывать. Но раз уж арестовали, то дело закрутилось. Отец в письме написал тётё Мане, чтобы она съездила в Ульяновку и попросила дядю Стёпу Бывшева помочь нам. Я ездила с тетей Маней. Дядя Стёпа обещал помочь. Мне врезалось в память его недоброе лицо и манера тянуть слова. А позже узналось, что анонимное письмо написал его брат, дядя Петя Бывшев, который тоже жил в Дровяном и работал на плавучке. И то, что мы ездили к дяде Стёпе на поклон, обернулось ещё более тяжёлым поворотом дела и стоило отцу дополнительных денег. Бывшевы были родней отцу. В общем-то он знал, что они всегда завидовали ему, считали, что он устроился в Мурманске лучше всей родни. Но отец по своей простоте думал, что в трудные минуты жизни люди должны жить по другим правилам и помогать друг другу, так, как это делал всю жизнь он сам. Про него говорили, что он с себя последнюю рубаху отдаст, если понадобится. В данном случае рубаху отдавать не понадобилось. А выручать Раю было нужно как можно скорее, не доводя дело до суда. Отец два раза ездил в Тамбов, мотался между Тамбовом и Чакиным, занял денег на несколько лет вперед, хорошо узнал многоступенчатую лестницу советского правосудия, где было довольно четко регламентировано, сколько и кому надо было дать. Суда над Раей не было, её освободили из тамбовской тюрьмы предварительного заключения. Больше всего отцу жалко было кожаное американское пальто, которое он отдал прокурору. У мамы хватило чувства юмора прикрепить на стенку, около которой стояла электрическая плитка и стенка всё время забрызгивалась жиром, плакат, выпущенный ко дню выборов в народные судьи. На плакате было соответствующее изображение и подпись: «Буржуазный суд – суд богачей, советский суд – суд народа». Так и провисел этот плакат, пока отец не напился и не сорвал его с руганью.

Тетя Маня рассказывала потом, что чакинские блюстители закона, не скрываясь, продавали наш каусник по бешеным ценам. Она сама покупала его через подставных лиц.

А я то лето так и провела в Чакино. Уезжала я в Мурманск не со станции Чакино, а со Ржаксы, потому что нашлись в Лукино земляки, которые тоже возвращались в Мурманск из отпуска. А уж так почему-то повелось, что, хотя расстояние до станций Чакино и Ржаксы было примерно одинаковым, километров по десять, из Лукино уезжали все больше через Ржаксу. Наверно, потому что это был районный центр, там было у лукинских побольше родни и знакомых, у которых можно было переночевать, там же был и базар.

У тех, с кем я собиралась ехать, родни на Ржаксе не было, поэтому мы приехали на станцию ближе к вечеру и стали коротать ночь на вокзале. Ехали мы, как всегда, на лошадях, и, как всегда, неспешная, в душистом сене, в свете уходящего дня поездка по неоглядным холмам и равнинам настраивала меня на очень сентиментальный лад.

Народу на вокзале было немного, только те, кто, как и мы, приехал из дальних деревень. Кто сидел, кто лежал, положив под голову мешки с провизией и барахлишком. Напротив меня, чуть наискосок, сидел маленький, смешной мужичонко в немыслимом вековом пиджачишке, еще более живописном картузе, в лаптях. Он был заметно навеселе, часто клевал носом, но иногда просыпался, весело на всех поглядывал и пел одну и ту же частушку:

Как колхознички у нас
Получают тыщи.
Утром чай, в обед чаек,
А вечером чаище.

Когда я услышала частушку первый раз, сердце у меня прыгнуло, я огляделась, нет ли поблизости милиционера. И потом, хотя я и давилась смехом, но каждый раз вздрагивала,

когда он пел эту частушку. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не пел её, его же за неё арестуют, но я не посмела.

Потом всех сморил сон, поспала и я. Когда я проснулась, напротив меня сидела женщина с пронзительными голубыми глазами на обветренном и прожжённом солнцем лице. Она улыбнулась мне и спросила:

– Ты чья же дочка будешь, такая наряжёная?

– Виктора Вавилова и Клавдии Семеновой дочь.

– А, ульянские... А они где же?

– А они в Мурманске, я тут была на каникулах.

– Отец был на войне-то?

– Нет, у него была бронь. Он хороший мастер по котлам и корпусам, он военные корабли ремонтировал.

– А мы из Гудиловки. Я мать-то твою в девках хорошо помню. Если знать да покопаться, мы, может, ещё родней окажемся.

Народу на вокзале всё прибывало. Большинство были одеты очень плохо. Одежду нельзя было даже назвать бедной, она была нищей. Мне стало стыдно за свой попугайчатый наряд, в котором преобладал красный цвет. У меня сжало горло от любви к этим женщинам, которые годами не видят просвета в своей каторжной жизни. Стали закипать слезы, я встала и вышла на улицу. Около вокзала стояли вековые деревья. Все вокруг было наполнено светом и звуками просыпающихся домов. Я долго ходила по Ржаксе, пытаюсь угадать, на какое из каменных зданий пошли кирпичи соколонского дома, а на какое – из разоренной лукинской церкви.

Когда подошел поезд, началось столпотворение. В вагоны, как и следовало ожидать, не пускали. Все ринулись штурмовать крыши. Не помню, как внесло меня на крышу, да ещё с багажом. Мне повезло, я даже пристроилась около трубы. Тогда на вагонах было множество маленьких трубочек, наверно, это были вентиляционные трубы. Я вздохнула облегченно, когда увидела на нашей крыше того самого мужичка. Он протрезвел, глядел на мир поскучневшими глазами и судорожно держался за трубу. А еще подальше к трубе была привязана небольшая коза. Она испуганно блеяла всю двухчасовую дорогу до Тамбова и доставляла много радости неунывающим тамбовским юмористам.

В Тамбове меня встретила тетя Шура, другая мамина сестра. Вечером она посадила нас на поезд, идущий до Москвы. На этот раз посадка совершалась тоже каким-то непостижимым образом через окна. Когда я теперь бываю иногда в цирке, то почти всегда вспоминаю послевоенные поезда, нужда делала тогда из всех цирковых артистов.

Когда закончился благополучно штурм поезда из Москвы в Мурманск, и мы наконец-то облегченно вздохнули, дескать, в тесноте – не в обиде, я вышла в тамбур. Я стала перебирать в голове все этапы нашей поездки в деревню, вспомнила взволнованный хриловатый голос отца, наказывающего не наживаться на людском горе, вспомнила, что из этого вышло, подумала, что же должна переживать тетя Маня, сознавая каждую минуту, что Рая в тюрьме. И я подумала: «Где же тот Бог, в которого так истово верит тетя Маня? Где он был, когда их, голь перекадную, раскулачивали? Где он был, когда её мужа убили на войне? Где он был, когда её дочь Нюра тронулась умом, потому что, когда она уехала в Тамбов в поисках пропитания, а ехала она на ступеньках поезда, на её глазах бандиты сбросили с соседней ступеньки женщину, и это на полном ходу? Где он был теперь, когда мы собирались облагодетельствовать всю деревню? Не было его и нет!!!»

Тётя Маня дала мне в дорогу бумажку с текстом молитвы «святые в помощи». Она повесила мне эту бумажку на суровой нитке на шею. И когда я решила, что Бога нет, то сорвала эту бумажку, порвала её в клочья и пустила по ветру.

* * *

Без дяди Кости жизнь в Дровяном потускнела. Особенно часто я вспоминала его, когда мы ходили в лес за незабудками, за купавками, просто так погулять. В некотором удалении от поселка было много прелестных мест, с ручейками, речками, тихой водой, в которой отражались невысокие северные деревья и кусты. Самыми лучшими были минуты, когда мне удавалось оторваться от подружек и побыть в этой красе, в этом трепетном дрожании воздуха, в этой музыке одной. От раза к разу во мне крепло убеждение, что средствами живописи невозможно передать пульсирующую жизнь природы, переменчивость солнечных бликов, многообразие зелёного цвета...

Бывали такие ясные дни, когда с высоты сопки открывался очень живописный вид на Мурманск и обрывистую скалу Абрам-мыса, под тенью которой приютился док. Оба берега отражались в величественном зеркале спокойного Кольского залива. Но залив был не всегда спокойным, и нам вскоре сделалось очень небезразличным его состояние. Дело в том, что в Дровяном была только начальная школа. В следующие классы надо было ездить в Мурманск. И мы ежедневно, в любую погоду, мотались туда и обратно на катерах. От пристани до школы на Жилстрое надо было идти минут сорок. Автобусов тогда не было. Мы очень рано должны были вставать. И мы очень мёрзли в своей скудной одежде. Так продолжалось два месяца. Потом, по каким-то соображениям плавучку перевели в посёлок Чалм-Пушку, в нескольких километрах к северу от Мурманска, на этом же берегу. Посёлок почти целиком состоял из новеньких финских домиков. Каждый дом был рассчитан на две семьи и имел два разных входа. В доме было по прихожей, кухне и одной комнате. С водой и тут было плохо, за ней надо было далеко ходить. Воду носили мы со Стасиком, потому что мама была беременна, беременность протекала у неё очень трудно, ей нельзя было поднимать ничего тяжёлого. Стасик с детства отличался хозяйственными наклонностями. А тут, в свои десять лет, он заменял отца, который пропал на работе. Он ходил в лес, приносил оттуда хворост и дрова, исполнял другу тяжёлую работу по дому. Мы пилили с ним брёвна, и он колол здоровенные поленья. Я тоже пыталась это делать, но у меня плохо получалось.

Школы в Чалм-Пушке не было, и мы ходили пешком или ездили на попутных машинах в губу Грязную, в трех-четырёх километрах. Губа Грязная была морской базой, вероятно, поэтому в школе был сильный учительский состав, всё больше жены офицеров из Ленинграда и Москвы.

Особенно интересными были уроки литературы и русского языка. Людмиле Михайловне удавалось умирять даже самых буйных из нашего класса. А между тем, хотя это был и пятый класс, в нём были сплошные переростки, у двоих были уже паспорта. Людмила Михайловна рассказывала нам исторические анекдоты, литературные. Чувствовалось, что она любила тех писателей, о которых рассказывала, не придерживаясь строго учебной программы. Однажды она увидела крохотный натюрморт в моём блокноте и не хотела верить, что это я нарисовала. С тех пор она как-то выделяла меня, хотя я и не была лучшей ученицей. Ею в нашем классе была несколько высокомерная Бэлла Поздняк, которая училась одинаково хорошо по всем предметам. А у меня уже начались кое-какие нелады с арифметикой.

Тут произошел такой эпизод. Мне как-то повезло с попутной машиной, и я рано приехала в ещё пустую школу. Я зашла в свой класс, мне понравилось, как гулко отдаётся в пустом классе каждый звук, и я начала петь. Пела довольно долго – и песни, и арии.

Вдруг открылась дверь, раздались аплодисменты. За порогом стояла Людмила Михайловна, а за её спиной – наш класс.

– Наташа, да у вас замечательный голос! Что же вы скрывали это?

Я не знала, куда деваться от смущения. Людмила Михайловна послала кого-то за директором. Ему рассказали, как почти час все слушали меня за закрытой дверью. Меня попросили спеть что-нибудь. И тут не знаю уж, какой бес меня подтолкнул, но я от страха запела вдруг: «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения». Как ни странно, никто не засмеялся. И в лице директора не дрогнул ни один мускул. Только чуточку лисьи глаза Людмилы Михайловны залучились морщинками, и она сказала:

– Наташа, может быть, вы споете что-нибудь другое, ну, хотя бы то, что вы уже пели, песню «Над водами».

И я запела песню, из которой сейчас помню только один куплет:

Если ты другого любила,
Если ты в чужом краю,
Всё, что было, всё, что ты забыла,
В лодке над водой спою.

Я не помню, откуда знала эту песню, её как будто не исполняли по радио. Через много лет я случайно попала на чествование основателя Ленинградского ТЮЗа Брянцева. Он уже не жил в это время. Оказалось, что эта песня была его любимой, и её исполняли на юбилее.

А тогда Людмила Михайловна и директор хлопотали за меня. Одна из жен офицеров кончила консерваторию и занималась преподаванием пения. Но когда она узнала, что мне тринадцать лет, то отказалась работать со мной, сказала, что сейчас не надо вмешиваться в голос, пусть сначала произойдёт его ломка.

В эту зиму все мои увлечения – чтение, рисование, пение – отодвинулись на задний план, побеждённые балетом. В Чалм-Пушку приехало из Перми семейство Болотиных. Галя Болотина была одного возраста со мной. Она училась в Перми в хореографическом училище и тяжело переживала, что отец погнался за длинным рублём и завербовался в Мурманск. Она часами занималась балетными упражнениями и заразила меня этим. По моей просьбе папа сходил к Болотиным, посмотрел, как выглядит балетный станок, и соорудил мне такой же у пустой стенки. Я подолгу тренировалась у станка до школы и после школы, терзала ноги в пуантах, которые Гале присылали из Перми. Мама не одобряла мои занятия:

– Господи, да перестань же ты часами задира́ть ноги выше головы. Всё равно балерины из тебя не получится, сама же говоришь, что уже поздно. Была бы еда хорошая, я бы тебе слова не сказала. А то ведь в чём душа держится, одни кости торчат, да шейка гусиная.

Еда и в самом деле была плохая. После тотального неурожая 1946 года и после того, как прекратились поставки по ленд-лизу, наступили тяжелейшие времена для всей страны. Если в войну худо ли, бедно, но карточки чаще всего отоваривались – в Мурманске, по крайней мере, – то теперь частенько отоваривать было нечем. Для спекулянтов это были золотые времена. За кусок хлеба люди отдавали прекрасные вещи. Отец спустил с себя всё, что ещё можно было обменять на продукты. В Чалм-Пушке подсобного хозяйства уже не было. Но у отца остались кое-какие связи на побережье. Однажды он привёз тюленьё мясо. Мама жарила его с перцем и лавровым листом, но всё равно оно ужасно пахло рыбьим жиром. Мы придумали, как его есть. Папа принес резиновые водолазные зажимки для носа. Мы надевали их на нос, и оставалось только правильно дышать и соответственно жевать, потому что иначе очень больно отдавалось в ушных перепонках. Ели мы и глупышей, и чаек. Они тоже пахли рыбьим жиром, но всё же не так противно. Потом папа за пару довоенных рубашек выменял у повара эсминца чемодан сухарей. Я даже меняла сухари на подсолнечные жмыхи, наше деревенское лакомство.

В апреле родился брат Аркаша. Мама чуть не умерла при родах. А в мае отца пригласили работать на мурманскую судоверфь.

Нам дали большую комнату в трёхкомнатной квартире с холодной кухней, на Кольском шоссе, которое было продолжением главной улицы, улицы Сталина.

В Мурманске жить стало чуточку полегче, потому что здесь была барахолка. Казалось, уж совсем ничего не осталось, что можно было выменять на съестное, но когда становилось совсем голодно, всё же что-нибудь да находилось. Мама строчила на машинке покрывала, наволочки, подзоры, и мы тоже меняли их на продукты. Иногда в разных концах города что-нибудь выбрасывали в свободную продажу: картошку, отруби, пшеничку, ячмень. Мы долгими часами стояли за этим в очередях, занимали очереди с ночи, писали химическим карандашом номерки на ладонях, составляли списки. Очень важно было не прозевать переключку. И хотя я брала с собою книги, чтобы скоротать время, очень часто я не читала, а разглядывала женские лица. На всю жизнь я напилась этим бесконечным морем скорби. И помню, как-то впервые в очереди во мне зазвучало: «Пепел Клааса стучит в моём сердце...». Безадресно, но просто: «Пепел Клааса...».

Все чаще я задумывалась над тем, можно ли карандашом и кистью выразить то безмерное людское горе, которое было нормой существования для большинства, в первую очередь женщин. А если это удалось бы кому-нибудь сделать, то кто же даст художнику выставить подобные картины? Ведь сталинские премии давали за совсем другое содержание. В газетах предавали анафеме растленное искусство на Западе, которое окончательно запуталось в тупиках абстракции. А я про себя соображала так: если на Западе и в Америке, где рисовать можно абсолютно всё, век живописи в традиционном понимании кончился, если фотография во многом приняла на себя функции живописи и ей, вероятно, еще предстоит сказать свое слово, то вряд ли стоит делом всей жизни избирать то, что я для краткости именовала рисованием. Я хорошо запомнила то, что было в альбомах, которые тогда Джим подарил дяде Косте. Меня не устраивала эквилибристика формами и красками. Но я размышляла дальше, что абстрактная живопись явилась естественным продолжением реалистической и, если кто-то находит в своей душе отклик на подобное искусство, пожалуйста, на здоровье. Я же мыслила вполне конкретно и полагала, что так будет и в будущем. Как-то в один из дней, когда я рассуждала таким образом, мне подарили открытку, на которой была нарисована роза. Очень хороший рисунок акварелью. Мне эта роза почему-то не давала покоя. Я решила повторить рисунок, села к столу и сделала тщательнейшую копию. Немного подумала, подписала в уголке: «Рисунок Н. Вавиловой» – и поставила дату. Раньше я этого никогда не делала. Потом довольно долго сидела над рисунком. Прости, Боже, мою самонадеянность, но я тогда думала так: к двадцати с лишком годам я вполне овладею так называемым реалистическим методом, а что дальше? Получать сталинскую премию за какой-нибудь очередной портрет нашего любимого вождя? Не слишком ли мало для живописи? И ещё не додумав до конца такие мысли, я вымыла кисти, сложила все свои рисовальные принадлежности в подходящий ящик и спрятала его под кровать.

Через пару недель отец первым забил тревогу:

– Ты почему больше не рисуешь?

– Не хочу.

– Ты что, не знаешь, что художник, как пианист, должен всё время тренировать руки и глаза?

– Знаю.

– Ты что, думаешь, что без труда поступишь в Академию?

– Я не буду поступать.

– Почему?!

– Не хочу, раздумала.

– Почему?!

– Не хочу, и всё тут.

– Ты мне брось эти штучки! Что, влюбилась в кого-нибудь?

- Других причин, конечно, быть не может...
 - Ты мне не дерзи! Отец не так глуп, как ты думаешь!
 - Я не думаю, что ты глуп. Я просто не хочу больше рисовать.
- Я ушла из дома, а когда вернулась, отец уже спал. На другой

день мама мне рассказала, что он напился и даже плакал, говорил, что из него ничего не вышло, потому что он вовремя не обзавелся красной партийной книжечкой, и он так гордился мной, верил, что из меня получится великий художник, который прославит на весь мир его фамилию, а я взяла и бросила всё.

Так сказать, подавленная творческая энергия искала выхода, и я то заучивала наизусть «Евгения Онегина», то бралась конспектировать «Капитал», то вышивала крестиком, ришелье и гладью, но в вышивке быстро брала высоты и так же быстро охладевала. Часов до двух белой ночи мы играли в волейбол, потом, когда все расходились, ещё долго впитывала в себя жемчужные, пастельные, неяркие краски северного неба, а потом читала часов до шести утра, в нашу комнату солнышко светило как раз в эти часы.

Осенью я пошла в шестой класс 5-ой женской школы на Жилстрое. Директором у нас оказалась Маргарита Александровна Линдстрем. Она узнала меня, расспросила, что люблю, что читаю. Она не вела уроки, но когда наша учительница литературы и русского языка болела, Маргарита Александровна заменяла её. Это были прекрасные уроки. Русские писатели, их герои оживали в её рассказах. Она тоже не придерживалась строго программы, а, увлекаясь, свободно переходила от одного писателя к другому. Это она научила нас писать изложения и сочинения. У неё хорошо писали даже безнадежные тупицы. Она не раз зачитывала в классе мои работы, а однажды, уже в седьмом классе, сказала, что верит, что когда-нибудь я буду выступать перед большой аудиторией.

У нас в школе было пианино. Оно никому не было нужно, потому что аккомпаниатора для уроков физкультуры не было, и никто из учеников нашей школы не занимался в музыкальной школе, так как Жилстрой был пролетарским районом. Застав меня однажды за тем, что я что-то подбираю на пианино, Маргарита Александровна разрешила мне пользоваться им, сколько мне захочется. Я терзала пианино два года и дотерзала до какого-то подобия бетховенской «Элизе».²

В седьмом классе, как я ни брыкалась, меня выбрали председателем совета дружины. Тогда же я вступила в комсомол. Меня посылали на какие-то конференции, слёты. Я просила Маргариту Александровну посодействовать тому, чтобы избрали другого председателя. Я честно сказала ей, что сдуваю почти все задачи по арифметике. В ответ на это она сказала, что знает, что все диктанты по русскому языку полкласса списывает у меня, и что многие домашние сочинения проверяю тоже я. Мне было нечего возразить.

Маргарита Александровна пригласила в школу артистку Мурманского театра Зинаиду Борисовну Хватскую ставить у нас спектакль «Золушка». Зинаида Борисовна дала мне роль принца. Мы взялись за постановку с большим увлечением. Пригласили из соседней женской школы преподавателя рисования. Он сделал нам хорошие декорации. Мы потрошили сундуки родителей и сшили просто великолепные костюмы. Кое-что, в том числе фальшивые драгоценности, Зинаида Борисовна принесла из театра. Мы выезжали со своим спектаклем в другие школы города, и о нашей постановке писали в газетах. У меня есть фотографии этого спектакля. За наши костюмы нам не пришлось бы краснеть даже сегодня.

В декабре сорок седьмого года отменили карточную систему. Все ликовали. Мама тогда сказала:

– Бери в свидетели Бога. Даже если годами будет достаточно только одного черного хлеба, я не стану роптать.

² «К Элизе».

Карточки-то отменили, но теперь очереди выстраивались даже за теми продуктами, которые по карточкам отоваривались при малых очередях. В очередях больше стояла я, потому что Аркаша была маленький, и мама кормила его грудью. До появления Аркашки я не то чтобы не любила детей, они для меня просто не существовали. В войну детей мало рожали, не помню ни одного ребенка у кого-нибудь из ближайших соседей. А Аркашка получился воплощённая радость детства. Он, как и мы со Стасиком, совсем не плакал и не капризничал, был такой хорошенький, улыбался всем, сначала смешным беззубым ртом, а потом уж и с зубками. Вечером, когда мама купала его, он так радовался, так бил по воде руками и игрушками, что мы все собирались около ванночки и радовались вместе с ним. Каждый день к нам на купанье напрашивались соседские девочки, а иногда и взрослые. Отец раз и навсегда запретил купать Аркашку до своего прихода.

Много позднее я узнала, что мама разрывалась между любовью к нам, старшим детям, и любовью к Аркаше. Для того чтобы было молоко, надо было получше есть, а она норовила даже свой худший кусок скормить нам.

Рая вышла от нас замуж за нашего, тамбовского, Бориса Переведенцева. Уговорил он её, улестил, вышла она за него без любви, в чём и до сих пор, став бабушкой уже двух внуков, раскаивается. Они мыкались с Борисом по чужим углам. Вскоре отцу дали вторую комнату в нашей квартире. Самым естественным делом для других родителей было бы поселить в этой комнате нас с братом, оба школьники, надо заниматься, а стол в нашей комнате и для занятий, и для приготовления еды один и тот же. Но самым естественным для моих родителей было отдать вторую комнату Рае с Борисом. Вообще, сколько себя помню, у нас всегда жили какие-нибудь родственники, близкие и далекие. Они становились полноправными членами семьи, и ни отец, ни, тем более, мать никогда никому не сказали ни одного неделикатного или грубого слова. К сожалению, как выяснилось позднее, немногие сохранили чувство благодарности к моим родителям. Всей деревне было известно, что Вавиловы всех пригреют и приглубят, за что же их благодарить...

* * *

Жизнь заметно стала улучшаться, хотя за всем, абсолютно за всем выстраивались очереди. У нас в школе появился даже буфет. Там во время большой перемены нам выдавали бесплатно по 50 граммов хлеба с ложечкой сахарного песка.

Маргарите Александровне удавалось добывать в нашу школу хороших лекторов из Москвы и Ленинграда. На эти лекции приглашались мальчики из соседней мужской школы. Среди них я отметила одного юношу и ловила себя на том, что часто думаю о нём. Внешность у него была демоническая – орлиный профиль, густые чёрные брови, – и был он очень высокомерен. Звали его Борис Каган, и жил он недалеко от нас, в каменном офицерском доме. Однажды мы устроили у себя в школе вечер, на который пригласили шестые и седьмые классы из мужской школы. Вечер получился хороший, мы танцевали и играли в разные игры, в том числе и в «цветы». Все называли себя различными цветами, а Борис назвал себя камышом. Конечно, такое мог придумать только необыкновенный человек. И, разумеется, он должен был выбрать такую же необыкновенную – меня. Но он меня не выбрал. И вообще, успеха у мальчиков я не имела. Это повергло меня в уныние, и какое-то время я вглядывалась в своё отражение в зеркале дольше обычного. Я надеялась, что Борис пригласит меня на выпускном вечере седьмого класса, сшила у хорошей портнихи красивое платье, мама купила мне чешские туфли на высоком каблуке. Но совместный вечер почему-то не устроили, отменили в последний момент к общему огорчению всех девочек, да и, наверно, всех мальчиков.

Летом я как-то встретила выпускницу нашей школы Веру Голубятникову. Она сказала, что горно организует, поездку в Москву и предложила мне поехать с ними. Поездка осуществ-

лялась на средства гороно, и только за что-то надо было доплачивать, но это была небольшая сумма. Родителей не пришлось долго уговаривать. Мы ехали с остановкой в Ленинграде. Ленинград ошеломил меня своей несхожестью с Москвой. В пропорциях дворцов, домов, площадей, ансамблей была скрыта какая-то удивительная тайна. По Эрмитажу мы пошли с экскурсоводом, это не позволяло задержаться перед картинами, но в душе я поклялась, что скоро приду в Эрмитаж одна. Но ещё больше, чем Эрмитаж, меня поразили Останкинский музей под Москвой. Он был понятней, человечнее и – создан руками крепостных. Мысленно я не раз возвращалась потом к этому и всё пыталась представить себе сложные отношения между господами и зависящими от них художниками. Художниками... После экскурсии мы почему-то долго сидели перед дворцом, и тут рука моя сама потянулась к карандашу, и я набросала в блокноте дворец и выслушала от товарищей по группе восторженные комплименты.

Мы ходили на «Корневильские колокола», я была взбудоражена увиденным и услышанным, поэтому, наверно, раскрепостилась до того, что по возвращении из театра, не стесняясь, перепела и перетанцевала всё, что мне запомнилось в спектакле. Все решили, что быть мне опереточной артисткой.

Восьмого класса на Жилстрое не было, и с первого сентября я пошла во вторую женскую среднюю школу, которая была в самом центре города, на проспекте Сталина. До этого мы встречались с ученицами второй школы на пионерских слётах, почти все они были детьми мурманского начальства, жили на проспекте Сталина в отдельных квартирах, и мы называли эту школу институтом благородных девиц. Директором её была Лидия Филипповна, выпускница Смольного института. Ей было уже много лет, но она очень прямо держала спину, у неё было благородное лицо и гордая посадка головы. Большинство учителей в школе были очень хорошие. Они давали нам многое, чего не было в учебниках, приучали конспектировать сверхпрограммный материал. Нам только не повезло с самым главным для меня предметом – литературой. Мало того, что Антонина Ивановна даже формально не имела права преподавать в старших классах, так как у неё не было для этого соответствующего образования. Она была просто обиженный Богом человек, не любила свой предмет, скучно долдонила по бездарным учебникам и программам образ Татьяны и образ Онегина и омертвляла всё, к чему прикасалась. Все три года мы долбили ленинскую «Партийную организацию и партийную литературу», ленинские же статьи о Толстом и часто, пользуясь рассеянностью Антонины Ивановны, говорили, что к сегодняшнему уроку она задавала повторить одну из этих статей и шпарили их наизусть, получая пятерку. Антонина была очень похожа на москву, и – каюсь – я частенько рисовала на неё карикатуры и пускала их по классу, развлекая одуряющее от скуки общество.

В декабре 1949 года праздновалось грандиознейшее по масштабам подготовки и оформления 70-летие нашего любимого вождя – Иосифа Виссарионовича Сталина.

Накануне его дня рождения у нас в школе состоялся торжественный вечер совместно с учениками Ной мужской школы, с которой наша школа дружила. Бэлла Мень запевала чистейшего серебра альтом:

Из красных пионов огромный букет
Мне дали ребята в отряде.
Просили цветы и горячий привет
Вождю передать на параде.

А мы подхватывали:

За то, что страна крепка и сильна,
И жить с каждым днем чудесней,
Вождю наш привет, наш красный букет

И лучшие наши песни.

21-го декабря центром праздника стал Пятачок, единственный скверик во всем Мурманске. Народу на Пятачке и на прилегающих улицах собралось видимо-невидимо. Темное небо над сопками перерезали прожектора, которые составляли из латинских цифр число 70.

Салют был невиданный, такого не было даже в день Победы. После каждого залпа все кричали «Ура!». И вдруг после очередного залпа я услышала за своей спиной чётко сказанное:

– Дети раздетые, а он ишь какие миллионы в небо фугасит... по всей стране...

Это относилось ко мне, потому что пальто у меня не было, и на мне надеты были две американские жакетки, которые плохо грели. Чутьочку выждав, я оглянулась. Я увидела мужчину и женщину, одетых очень просто, по виду скорее рабочих. У мужчины было хорошее русское лицо, на котором какой-то интенсивной жизнью жили светлые страдальческие глаза. «Ну, прямо из Достоевского лицо», – подумала я. Мужчина поймал мой взгляд, подмигнул мне и чутьочку улыбнулся.

Когда мы возвращались домой после народного гулянья, в моём мозгу опять зазвучало это безадресное пока: «Пепел Клааса стучит в моё сердце... Пепел Клааса стучит в моё сердце...».

Дома я рассказала маме об услышанном и спросила её:

– Мама, а разве Сталин сам дал приказ так праздновать его день рождения?

Мама несколько раз затянулась папиросой и не сразу ответила:

– Вишь, дочка, он-то, конечно, такого приказа не отдавал... Но ведь каждый начальник, большой и маленький, разве осмелится как-то не вложить свою лепту... Каждому его место дорого, в тюрьму ведь никому не хочется.

– В тюрьму?!

– А ты как думала...

– А разве все эти полотнища и салюты стоят денег?

– Да как же не стоять! В таких вещах ты уже должна разбираться лучше меня. Ты его сшей, каждый-то флаг, да прибей, да произведи ракетку, да выстрели ее – за всё же это надо кому-нибудь да платить. А сколько людей на всё это многодневное празднество отвлечено, это же миллионы и миллионы стоит... За эти деньги действительно много пальто можно было бы сшить, мужичок-то, он прав...

* * *

Как-то по школе разнеслось сообщение, что в первой мужской школе организуется драмкружок. К указанному часу мы отправились туда. Почему-то большинство из жаждавших поступить в кружок приготовили отрывки из Горького и Маяковского. Я тоже собиралась прочесть легенду о Данко. Нас набирал артист мурманского областного театра Троицкий Сергей Яковлевич. Мне он не понравился, потому что за всё время ни разу не улыбнулся. Сначала прослушивали мальчиков. Все они более или менее ненатуральными голосами читали стихи о советском паспорте, отрывки из поэм «Хорошо» и «В. И. Ленин» и «Буревестника». После мальчиков Троицкий обратился к девочкам и сказал, кивнув мне:

– Начнем с вас.

Я вышла и начала завывать не хуже, чем Тамара Давыдова по радио:

«Жили на земле в старину одни люди и т. д...».

Не успела я произнести первые три-четыре предложения, как Троицкий без тени улыбки и даже слегка брезгливо остановил меня:

– Что с вами?

Какие-то доли секунды я не понимала, что он имеет в виду, но вдруг меня как озарило: нельзя так неестественно читать, нельзя кому-то подражать! Я бросилась вон из класса, девочки за мной. Я рыдала в гардеробе, а девочки пытались меня утешить. Ведь это теперь, когда актеры играют так естественно, что уже в десятом ряду ничего не слышно, все поступающие в театральные вузы знают, что больше всего ценится естественность поведения в предлагаемых обстоятельствах, индивидуальность поступающего. А тогда даже знаменитые мхатовцы, которых я слышала по радио, говорили всё-таки ненатурально, несколько форсируя свои голоса.

Несмотря на мою неудачную пробу, Троицкий приглашал меня через девочек на роль Елены Ивановны в чеховском «Медведе», но я не пошла. А через несколько месяцев Троицкий умер от рака. Тогда, когда он прослушивал нас, то уже знал о том, что ему осталось недолго жить, потому и был такой пасмурный.

Еще до истории с драмкружком я поступила в хоркружок в нашей школе и с удовольствием в нём пела, потому что в хоре я никого не стеснялась. Но однажды руководительница хора Надежда Николаевна велела мне остаться после занятий. Она устроила мне экзамен и сказала, что с сегодняшнего дня я буду солисткой. К каждому вечеру в нашей школе она готовила со мной по одной-две арии. Эти выступления были мучительны для меня, и я каждый раз отказывалась, говорила, что я стесняюсь, но Надежда Николаевна оставалась непреклонной и заставляла меня петь и предлагала мне обучаться у нее нотной грамоте. Но тут уж я уперлась.

Я говорила, что никогда не смогу отличить на бумаге одну ноту от другой, что это так же бесполезно, как пытаться обучить меня шахматной игре. Стасик пытался было учить меня. Как ходит пешка, я помнила. Как ходит следующая фигура, я тоже помнила. Но когда надо было запоминать, как ходит третья по значению фигура, я начисто забывала, как ходят две предыдущие, и Стасик, помучившись со мной какое-то время, сказал, что я непроходимо и безнадежно тупа. Вот и теперь, когда я вижу, как какая-то кроха сидит за пианино и что-то играет, заглядывая в ноты, я бываю потрясена. То же относится к шахматам. Так и повелось, что пела я по слуху. Не сразу, постепенно Надежда Николаевна выяснила, что для меня не существует никаких технических трудностей, я одинаково легко пела и то, что пели певицы с колоратурным сопрано и то, что исполняли меццо-сопрано. Я и до сих пор не знаю, что это такое, но Надежда Николаевна определила, что у меня голос в три с половиной октавы.

На вечерах в мужской школе выступал обычно драмкружок, а на вечерах в нашей – хоркружок с солистами, девочки играли также на пианино и на скрипке. Вечера у нас были очень хорошие, в нашей школе лучше, чем в мужской. В их школе, правда, было то преимущество, что там дежурили их учителя, и мы меньше стеснялись во время танцев и игр. Кроме того, там меньше донимали па-де-катрами и па-де-патинерами, а больше танцевали полузапрещенные танго и фокстроты.

У нас сколотилась очень дружная компания, нам все завидовали и стремились к нам попасть. Праздники и дни рождения мы отмечали с вином и водкой. Но никогда никто из мальчиков не напивался и никогда никто не нарушал ту целомудренную атмосферу, которая царил в нашей компании. Разумеется, все были в кого-то влюблены, кто-то провожал ту, а не другую домой, и даже кто-то с кем-то целовался, о чем сообщалось друг другу по большому секрету. Но меня провожали обычно всей компанией, потому что я дальше всех жила и начинали провожание с меня. Больше всех из наших мне нравился Мишка Филиппов, сын артистов нашего театра, будущий архитектор, а позднее – лучший оператор ленинградского телевидения. Но Мишка толкал в снег и забрасывал снежками Эмму Глушкову, а не меня. Борис Каган – камыш – в нашу компанию не входил, он дружил со Светланой

Платоновой, дочкой командующего Северным флотом. Еще один юноша не из наших, Толя Барков, белокурый красавец, был первым в списке тех, кто мне нравился. Он танцевал со мной на вечерах и даже провожал меня несколько раз домой. Но однажды на вечере в нашей школе, посвященном Чайковскому, он танцевал только со мной, а в этот вечер дежу-

рила физичка. В понедельник она вызвала меня отвечать, а не должна была, потому что только недавно меня вызывала. Разумеется, я ничего не знала, и она, поставив двойку, сказала что-то язвительное насчет того, что пением завлекать белокурых Русланов куда как легче, чем выучить один урок по физике. Физику и физичку я с тех пор возненавидела и отомстила ей серией осознанно злых карикатур. Но когда следующий вечер был в мужской школе, и Толя снова пригласил меня танцевать, я два раза подряд отказала ему, он оскорбился и больше меня никогда не приглашал, и я очень страдала. Я знала, что нравлюсь двум мальчикам, с которыми мы ездили в Москву. Я сдержанно кокетничала с ними, когда они приглашали меня танцевать, выслушивала комплименты моему голосу, но и всё, оба они мне нисколько не нравились. К десятому классу почти каждой девочке хоть кто-нибудь объяснился в любви, а мне и в десятом никто не объяснился. Как выяснилось двадцать лет спустя, все думали, что у меня любовь с Витей Чернопятовым из нашей компании. А он танцевал со мною часто просто потому, что Вера Куликовская, в которую он был серьезно влюблен, была большой разбивательницей сердец и одновременно кокетничала и танцевала с десятком мальчиков из разных классов. И те же двадцать лет спустя я узнала, что кое-кто считал меня горячкой и недотрогой, и почти «синим чулком», потому что в то время, когда все школы гуляли на определенном участке на проспекте Сталина, прозванном Бродвеем, я просиживала в читальном зале за толстыми литературными журналами. А библиотека была на Бродвее, и кто-то же из мальчишек знал, что я там сижу...

Из читального зала я уходила чаще всего со смутным ощущением раздражения. Я тогда не знала термина «нормативная критика», но это было именно то, что меня раздражало. Я не могла понять, как можно предписывать писателю жесткие, прокрустовы нормы того, как, по каким рецептам он должен писать. Я пыталась в романах, повестях разыскать живое слово, живой характер, страдания, боль – и не находила этого. Ходульность того, что печаталось в толстых журналах, жалкие потуги создания выморочного положительного героя убивали во мне даже любовь к классикам. Мне было не с кем поделиться своими сомнениями. Моя подружка Кира Нечай для этого не годилась. Она могла часами рассказывать о сложностях своих отношений с Аликом Кудрявцевым и с другим Аликом, который остался в Караганде. Из Караганды Кира приехала со своей матерью, которая там сидела в лагере, а потом жила на вольном поселении. Я как-то стеснялась расспросить Киру и тем более её мать Милицу Андреевну, что это была за ссылка в НАШЕ время, за что она сидела. Ведь до войны она возглавляла профсоюз работников искусств в Ленинграде. О ссылке говорилось иногда в разговоре так, будто все об этом знают, поэтому мне и было неудобно расспрашивать. Отец Киры и её старшая сестра умерли во время блокады Ленинграда. Отец был директором военного завода. Иногда речь шла о восстановлении Милицы Андреевны в партии, она ездила то в Ленинград, то в Москву хлопотать об этом непонятном мне восстановлении. Милица Андреевна были шумной и энергичной женщиной, как, впрочем, и Кира. Они постоянно ссорились и выясняли отношения. Для меня это были странные отношения, меньше всего похожие на отношения матери и дочери. Милица Андреевна преподавала в музыкальной школе класс фортепьяно и вела сольфеджио. Она тоже предлагала мне пройти с нею ускоренный курс обучения нотной грамоте, но я отказалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.